



Всеволод Владимирович Крестовский
Панургово стадо
Серия «Кровавый пуф», книга 1

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=151488
Крестовский В. *Кровавый пуф*: Эксмо; М.; 2007
ISBN 978-5-699-20078-8*

Аннотация

«Панургово стадо» – первая книга исторической дилогии Всеволода Крестовского «Кровавый пуф». Поэт, писатель и публицист, автор знаменитого романа «Петербургские трущобы», Крестовский увлекательно и с неожиданной стороны показывает события «Нового смутного времени» – 1861-1863 годов. В романе «Панургово стадо» и любовные интриги, и нигилизм, подрывающий нравственные устои общества, и коварный польский заговор – звенья единой цепи, грозящей сковать российское государство в трудный для него момент истории.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
I	4
II	13
III	22
IV	27
V	29
VI	34
VII	36
VIII	44
IX	50
X	56
XI	66
XII	69
XIII	71
XIV	76
XV	79
XVI	84
XVII	86
XVIII	89
XIX	99
XX	103
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Всеволод Владимирович Крестовский

Кровавый пуф. Панургово стадо

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I Воля

Наступил день 19-го февраля 1861 г.

Миллионы труждающихся и обремененных осенили крестом свои широкие груди; миллионы удрученных голов, с земными поклонами, склонились до сырой земли русской. С церковных папертей и амвонов во всеуслышание раздалось вещее слово. По всем градам и весям, по всем пригородам и слободам, по деревням, посадкам и селам церковные колокола прогудели, по лицу вся земля Русской, благовест воли.

Русская земля отпраздновала первый день своей всенародной свободы.

А между тем...

В воздухе было что-то давящее, плавало что-то смутное, серое, неопределенное. На горизонте собирались какие-то зловещие, свинцовые тучи.

* * *

– А что, Волгой не возят?

– Покинули... дней с двенадцать, как покинули... Береговым трактом валят.

– Да ведь еще не ломало ее?

– Не ломало, а только вздулась, почернела вся... Под Василем-Сурским, слышно, стон уже дала: надо быть, скоро тронется.

Этими словами молодой человек, выглядывавший из приподнятого воротника бараньей шубы, перекинулся с мужичонкой корявого вида, который сидел за кучера на передке дорожного возка. Возок, по всем приметам, был помещичий, не из богатых, а так себе, средней руки. Его тащила по расхлябанной, размытой и разъезженной дороге понурая обывательская тройка разношерстных кляч.

Был апрель месяц – урочное время, когда по нашим первобытным дорогам нет пути ни на колесах, ни на полозьях. Молодой человек ехал на обывательских, по вольному найму.

Дорога близилась к Волге.

Моросило сверху, слякотило снизу. Время стояло непогожее, а между тем на дороге было заметно какое-то необычное оживление... То и дело плелись мужики – кто в одиночку, кто по два, по три, а то и целыми гурьбами, душ в десять и более; иные тащились на розвальнях, иные верхом на поджарых, мохнатых клячонках, то и дело понукая их болтающимися ногами, когда те вязли в бесконечной, невылазной грязи. И все это как-то оживленно, озабоченно толковало промеж себя, все это как будто торопилось куда-то и плелось по одному и тому же направлению, в ту самую сторону, куда тащился и помещичий дорожный возок.

Корявый мужичонко, ровняясь время от времени с пешеходами, иногда приподнимал свой несуразный малахай и кивал головою. Иные из пешеходов, в свою очередь, отвечали ему поклонами. Видно было, что все эти люди более или менее знакомые, из ближней окрестности.

– Стигней! А Стигней! Куда те прет? – окликнул корявый мужичонко одного из поравнявшихся с ним мужиков.

– В Снежки! – махнул он рукою вдоль по направлению своей дороги. – Все в Снежки махаем.

– За коим лешим в Снежки?

– Да ты отколева? Нешто не слышал?

– Как не слышать!.. Да рази не покончили?

– Зачем кончать... Там, слышно, теперича воля заправская. Сказывали, будто с Питера енарал наехал в Снежки – будет мужикам снежковским волю вычитывать... И мы, значит, слухать идем.

– Да ведь батька в церкви чел уже?

– Мало чего чел!.. Теперича, баяли, самую заправскую и выложат. А то, слышь ты, снежковский немец-то крестьян снова на барщину погнал – какая ж это воля?

Корявый мужичонко зацмокал, занукал, замахал в воздухе кнутиком – животы принажились, рванулись понуро вперед – и возок опередил попутного Евстигнея.

До села Высокие Снежки оставалось верст пяток, не более. Молодой человек закутался покрепче в свою баранью шубу и уютно откинулся в глубь возка, на мягкие деревенские подушки. В Снежках ему предстояло переменить лошадей, чтобы плестись с грехом пополам далее, в губернский город, который на фантастической карте Российской империи, существующей в воображении читателя, отмечается довольно крупным кружком с подписью при оном: Славнобубенск, – стало быть, и губернию, существующую в нашей фантазии, мы назовем Славнобубенскою.

Молодой человек, с которым мы повстречались на дороге, принадлежал к числу средней руки дворян Славнобубенской губернии. Читателю необходимо знать, кто он; поэтому автор должен рекомендовать его. Это обыкновенно неизбежное место всевозможных повестей и романов. Сознывая это, автор постарается быть по возможности кратким. Зовут его – по фамилии Хвалынцев, по имени Константин, по отцу – Семенов. Ни в имени, ни в фамилии, как видит читатель, ничего особенно примечательного не оказывается. Хвалынцев с полным правом может называться молодым человеком, потому что ему только что минуло двадцать два года. Он высок и мускулист, сложен крепко и красиво. Если бы спросили о его лице, я бы сказал, что это лицо русское, совсем русское, отмеченное своеобразною красотою. От его открытой улыбки, от его светло-серых больших глаз веяло чем-то симпатичным. Теперь два слова о его общественном положении и о том, зачем он едет по дороге. Кроме того, что уже известно читателю, а именно, что Хвалынцев принадлежит к числу дворян и средней руки землевладельцев Славнобубенской губернии, надобно знать еще, что он четвертого курса университетский студент и ездил недавно на родину хоронить одинокого дядю да разделить с сестрой своей оставшимся после покойника наследством. Теперь он возвращается в Петербург, но предполагает по делам остаться некоторое время в Славнобубенске. Вот и все «скучное», что пока необходимо было знать читателю о молодом человеке.

Возок поднялся на пригорок – и перед Хвалынцевым в версте расстояния развернулись то скученные, то широко разбросанные группы серых изб, сараи, амбары, овины и бани. Там и сям, над этими группами, поднимались силуэты обнаженных деревьев и белелась каменная церковь с высокой пирамидальной колокольней. Это было село Высокие Снежки.

Широкая площадь между церковью и старым господским домом сплошь была покрыта густыми толпами народа. Во всей этой массе виднелись только одни мужские головы. Бабы и ребятки жались больше по окраинам площади, поближе к избам и, промеж своих собственных разговоров, пассивно глазели на волнующуюся массу крестьянского люда, над которой гудел, как шмелиный рой, какой-то смешанный, тысячеголосный говор.

Едва Хвалынцев въехал на эту площадь, как возок его вмиг окружен был толпою, и кони стали, за невозможностью двинуться далее.

– Енарал!.. Енарал приехал! – пробежало из уст в уста по кучкам толпы – и головы ближайших к возку мужиков почтительно обнажились. Но это длилось не более полуминуты... разглядели слишком молодое лицо приезжего, его баранью шубу и решили, что генералу таким быть не подобает. Обнаженные головы снова накрылись, хотя возок и продолжал еще возбуждать любопытство толпы.

– Братцы! Дайте проехать! – высунулся Хвалынцев вперед из-под кузова.

– Да тебе куда, милый человек? – отозвался чей-то голос.

– На стоялый двор... а потом мимо.

– Мимо... стал быть, не к нам... А нашто тебе на стоялый?

– Лошадей порядить.

– Стало, на вольных едешь?

– На вольных.

– Ну, значит, зашабашить надо! Теперь не порядишь: не повезут.

– А что так?

– Да где уж везти! Не такое время... Каждый мужик на миру нужен: енарала с Питеру ждем.

Между тем корявый мужичонко кое-как попытался прокладывать себе дорогу; удавалось это ему с величайшими затруднениями – толпа расступалась туго, тысячи любопытных глаз пытливо засматривали под кузов. Наконец добрался-таки до стоялого двора, который тут же, на краю площади, красовался росписными ставенками.

Не успел Хвалынцев оглядеться, распустить дорожный ременной пояс да заказать самовар, как к нему вошли несколько мужиков и с поклонами остановились вдоль стены у дверей. Бороды по большей части были сивые, почтенные.

– Что вам, братцы? Чего вы?

– К твоей милости, батюшко! Заступись! Обижают...

– Да я-то что же?.. Я, братцы, проезжий.

– Ты, батюшко, сказывали, питерского енарала передовой... Рассуди, кормилец! Волю скрасть хотят у нас! То было волю объявили, а ныне Карла Карлыч, немец-то наш, правящий, на барщину снова гонит, а мы барщины не желаем, потому не закон... Мы к тебе от мира; и как ежели что складчину какую, так ты не сумлевайся: удоблетворим твоей милости, – только обстой ты нас... Они все супротив нас идут...

– Кто все? – полюбопытствовал Хвалынцев.

– Да все, как есть: и становой, и исправник; Корвинской барин – предводитель – тоже за немца; опять же офицер какой-то с города наехал – и тот за немца... Одна надежда на енарала на питерского... Пошто же мужиков обижать занапрасно!

Только что стал было Хвалынцев убеждать их, что он к питерскому генералу никакого касательства не имеет, что он просто сам по себе и едет по своей собственной надобности, как вошел новый посетитель – жандарм, во всей своей амуниции.

– Который здесь проезжий?

– Я проезжий. А что?

– Пожалуйте... полковник требуют.

– Какой полковник? Зачем?.. Что ему?

– Не могу знать, – приказано... Пашпорт свой прихватите.

Хвалынцев недоумевая пошел вслед за жандармом.

Пришли в прихожую старого и давно уже нежилого господского дома. Там помещался другой жандарм, и тоже во всей своей амуниции. Хвалынцева пропустили в залу, а солдат

почтительно-осторожной, но неуклюже-косолапой походкой на цыпочках пошел докладывать во внутренние покои.

Хвалынцев машинально стал оглядывать залу: узкие потускнелые зеркала с бронзовой инкрустацией; хрустальная люстра под росписным потолком; у мебели тонкие точеные ножки и ручки, в виде египетских грифов и мумий; давным-давно слинялый и выпцвевший штоф на спинках и сиденьях; темные портреты, а на портретах все Екатерининская пудра да высочайшие Александровские воротники, жабо да хохлы, скученные на лоб. Над диваном потрескавшаяся большая картина с каким-то мифологическим сюжетом и обнаженными полногрудыми женами. Все это как-то таинственно переносило в другой мир – отживший, некогда блестящий, все это веяло каким-то домашним преданием, семейной хроникой, и светлыми, и темными, но ныне уже потускневшими красками.

В одной из смежных комнат, куда удалился жандарм, раздавались людские голоса. Через полминуты он вышел и, сказав мимоходом Хвалынцеву, чтобы обождет, удалился в прихожую.

– Угол от пяти... полтина очко... пять рублей мазу! – послышалось из внутреннего покоя, сквозь неплотно припертую дверь, когда скрип солдатских шагов затих в передней и воцарилась прежняя тишина.

«Что ж это такое?» – не без удивления подумал себе Хвалынцев.

– Болеслав Казимирыч, да вы хоть талию-то кончите... Успеет еще!..

Студент отвернулся к окну и сквозь двойные стекла, от нечего делать, стал глядеть на двор, где отдыхал помещичий дормез, рядом с перекладной телегой, и тут же стояли широкие крытые сани да легкая бричка – вероятнее всего исправничья. А там, дальше – на площади колыхались и гудели толпы народа.

В зале слышались шаги.

Хвалынцев обернулся и увидел синий расстегнутый сюртук и, с широкими подусниками, характерные усы высокого штаб-офицера, который шел прямо на него.

– Кто вы такой? – осведомился офицер с официально-начальственно-вежливой сухостью, остановившись от него в двух шагах расстояния.

Хвалынцев назвал себя.

– Ваш вид?

Тот достал из дорожной сумки, висевшей у него через плечо, свое университетское свидетельство.

– Зачем вы приехали в Высокие Снежки? – продолжал офицер, наскоро пробежав глазами поданную ему бумагу.

– Проездом в Славнобубенск.

– Гм... проездом... так-с... А зачем же непременно в Снежки?

– Затем, что дорога на Снежки лежит.

– Гм... дорога... А разве нельзя было мимо объехать?

– Ну, об этом надо спросить, полковник, моего извозчика: он это, конечно, лучше меня знает, а мне здешние пути не знакомы.

– Вы разве не знаете, что в Снежках восстание, бунт крестьянский, и едете прямо в Снежки!

– Откуда же знать мне? Я – человек проезжий.

– То-то я и вижу, что проезжий... А зачем вы сейчас мужиков к себе собирали?

Хвалынцев объяснил ему, как было дело.

– Ваша подорожная?

– Я еду по вольному найму на обывательских.

– Гм... на обывательских... без подорожной... Так-с.

Офицер смотрел на Хвалынцева пристальным, испытующим взглядом: он, очевидно, не доверял его словам.

– Вы... извините, – начал он со вздохом, спустя некоторое время. – Я должен задержать вас... тем более, что и так вы все равно не достали бы себе лошадей... не повезут, потому – бунт.

В это время в залу вошли из того же внутреннего покоя еще четыре новые личности. Двое из вошедших были в сюртуках земской полиции, а один в щегольском пиджаке шармеровского покроя. Что касается до четвертой личности, то достаточно было взглянуть на ее рыженькую, толстенькую фигурку, чтобы безошибочно узнать в ней немца-управляющего.

Пиджак переглянулся с Хвалынцевым, и оба как будто узнали друг друга.

– Господин Хвалынцев, если не ошибаюсь? – с изящной вежливостью прищурился немножко господин в пиджаке.

– Не ошибаетесь, – столь же вежливо поклонился студент.

– Имел удовольствие видеть вас на похоронах вашего дядюшки... мы хоть и разных уездов, но почти соседи и с дядюшкой вашим были старые знакомые... Очень приятно встретиться... здешний предводитель дворянства Корытников, – отрекомендовался он в заключение и любезно протянул руку, которая была принята студентом.

Штаб-офицер передернул характерными русыми усами и недоумело поглядел на того и другого.

– Послушайте, – таинственно взяв под руку, отвел он предводителя в сторону, на другой конец залы, – студиозуса-то, я полагаю, все-таки лучше будет позadržать немного... Он хоть и знакомый ваш, да ведь вы за него ручаться не можете... А я уж знаю вообще, каков этот народец... Мы его эдак, под благовидным предлогом... Оно как-то спокойнее.

– Как знаете, – пожал плечами предводитель, – это уж ваше дело, полковник.

– То-то; я думаю, что лучше позadržать... Вот он – едва приехал, а к нему уж мужичье нагрнуло советов просить. Ну, а я уж знаю вообще эти студентские советы!..

– Господин Хвалынцев... извините... это – маленькое недоразумение! – с любезной улыбкой начал офицер, направляясь к студенту и подшаркивая на ходу. – Вот ваш вид; но все-таки, я полагаю, вам лучше бы переждать немного... Во-первых – сами изволите видеть, – время тревожное, ехать не безопасно... Мало ли что может случиться... Это, во всяком случае, риск; а во-вторых – смею вас уверить, – вы здесь никак теперь лошадей не достанете, не повезут... До того ль им теперь!.. Мы и сами вот как бы в блокаде содержимся, пока до прибытия войска.

Хвалынцев поблагодарил предупредительного полковника, но при этом все-таки выразил желание попытаться – авось либо и удастся порядить лошадей.

– Мм... сомневаюсь, – покачал головой полковник, – да если бы и удалось, я все-таки не рискнул бы отпустить вас. Помилуйте, на нас лежит, так сказать, священная обязанность охранять спокойствие и безопасность граждан, и как же ж вдруг отпущу я вас, когда вся местность, так сказать, в пожаре бунта? Это невозможно. Согласитесь сами, – моя ответственность... вы, надеюсь, сами вполне понимаете...

Хвалынцев ничего не понял, но тем не менее поклонился.

– Ну, нечего делать, – пожал он плечами, – пойду на стоялый.

– Нет, уж на стоялый не ходите, – торопливо предупредил офицер, – это точно так же не безопасно... Ведь уж к вам и то забралась мужики-то наши...

– Да что ж им во мне? Ведь не против меня бунтуют.

– Вы полагаете? – многозначительно, глубокомысленно и политично сдвинул полковник брови и с неудовольствием шевельнул усами. – Это бунт, так сказать, противусловный, и я, по долгу службы моей, не отпущу вас туда.

– Но как же мне быть, господин полковник?

- Остаться здесь до времени.
- Но мои вещи.
- Жандармы перенесут ваши вещи.
- Но, наконец, я есть хочу, отдохнуть хочу...

– Все это к вашим услугам. Вот – Карл Карлыч, – рекомендательно указал он рукою на рыженького немца, – почтенный человек, который озаботится... Вот вам комната – можете расположиться, а самовар и прочее у нас и без того уже готово.

Хвалынцева внутренне что-то передернуло: он понял, что так или иначе, а все-таки арестован жандармским штаб-офицером и что всякое дальнейшее препирательство или сопротивление было бы вполне бесполезно. Хочешь – не хочешь, оставалось покориться прихоти или иным глубокомысленным соображениям этого политика, и потому, слегка поклонившись, он только и мог пробормотать сквозь зубы:

– Я в вашей власти.

– Очень приятно! Очень приятно-с! – ответил полковник с поклоном, отличавшимся той невыразимо любезной, гоноровой «гжечностью», которая составляет неотъемлемую принадлежность родовитых поляков. – Я очень рад, что вы приняли это благоразумное решение... Позвольте и мне отрекомендоваться: полковник Пшецыньский, Болеслав Казимирович; а это, – указал он рукою на двух господ в земско-полицейской форме, – господин исправник и господин становой... Не прикажете ли чаю?

– Да, я прозяб и хотел бы согреться.

– В таком случае пойдемте с нами, – предложил ему предводитель, указав на дверь во внутренний покой, – и все отправились по указанному направлению.

Здесь предстало Хвалынцеву новое зрелище. То был старинный барский кабинет, с глубокими вольтеровскими креслами, с пузатым бюро, с широкой оттоманкой от угла в две стены. Хроматические гравюры, висевшие тут, изображали охотничьи сцены из английской жизни да сантиментальные похождения Поля и Виргинии. Посередине комнаты стоял ломберный стол, на котором валялись мелки и карты – атрибуты неоконченного штосса. В углу, на другом столе, помещался вместительный самовар с чайною принадлежностью, лимоны, бутылка коньяку, графин с водкой, селедка и сыр. Вся эта снедь и пития малым остатком красноречиво доказывали, что присутствующие успели уже неоднократно оказать им достойную честь.

Едва вошел Хвалынцев в эту комнату, как на него злобно зарычали два мордастых бульдога, которые были привязаны сворой к ножке пузатого бюро. Но немец-управляющий внушительно цыкнул на них, и они замолчали. Кроме яствий и карт, Хвалынцева немало удивило еще присутствие в этой комнате таких воинственных предметов, как, например, заряженный револьвер, лежавший на ломберном столе, у того места, на которое сел теперь полковник Пшецыньский; черкесский кинжал на окошке; в углу две охотничьи двухстволки, рядом с двумя саблями, из коих одна, очевидно, принадлежала полковнику, а другая – стародавняя, заржавленная – составляла древнюю принадлежность помещичьего дома. Вообще, эти «злющие» бульдоги на своре, этот заряженный револьвер, и ружья, и кинжал, и сабли ясно доказывали, что все эти господа действительно почитали себя в самой серьезнейшей блокаде и намеревались недешево продать русским мужикам свое драгоценное существование, если бы те задумали брать приступом господскую твердыню.

– Когда же вы меня отпустите отсюда, полковник? Когда я буду свободен? – спросил Хвалынцев, *volens-nolens*¹ располагаясь на старой оттоманке.

– О, помилуйте, вы и теперь свободны, но... только я не могу отпустить вас раньше окончательного укрощения; когда волнение будет подавлено, вы можете ехать куда угодно.

¹ Волей-неволей, вынужденно (лат.).

– А когда оно будет подавлено?

– Это зависит от прибытия войск. Вчера мы послали эстафету, сегодня – надо ожидать – придут.

– Да что это у вас за восстание такое? Как? Почему? Зачем? Объясните, пожалуйста, – обратился Хвалынцев к предводителю.

– О, это презапутанная и вместе пренелепая история, – с изящным пренебрежением выдвинул предводитель свою нижнюю губу. – Никаких властей не признают, Карла Карлыча не слушают... Какой-то вредный коммунизм проявился... *Imaginez-vous*², не хотят понять, что они должны либо снести те усадьбы, которые стоят ближе пятидесяти саженей к усадьбе помещика, либо, по соглашению с помещиком, платить за них выкуп. Не хотят ни того, ни другого. «Усадьба, говорит, и без того моя была!» (Предводитель, ради пущей изобразительности и остроумия, крестьянские реплики в своем рассказе передразнивал на мужицкий лад.) Вот и толкуйте с ними! И теперь, *à la fin des fins*³, вышли на площадь, толкуют *Dieu sait quoi*⁴ о том, что волю у них украли помещики, и как вы думаете, из-за чего? Для их же собственной пользы и выгоды денежный выкуп за душевой надел заменили им личной работой, – не желают: «мы-де ноне вольные и баршшыны не хотим!» Мы все объясняем им, что тут никакой барщины нет, что это не барщина, а замена выкупа личным трудом в пользу помещика, которому нужно же выкуп вносить, что это только так, пока – временная мера, для их же выгоды, – а они свое несут: «Баршшына да баршшына!» И вот, как говорится, *inde irae*⁵, отсюда и вся история... «Положения» не понимают, толкуют его по-своему, самопроизвольно; ни мне, ни полковнику, ни г-ну исправнику не верят, даже попу не верят; говорят: помещики и начальство настоящую волю спрятали, а прочитали им подложную волю, без какой-то золотой строчки, что настоящая воля должна быть за золотой строчкой... И вот все подобные глупости!

– Но для чего же они на площадь повыходили? – спросил Хвалынцев.

– Вот, слухи между ними пошли, что «енарал с Питеру» приедет им «волю заправскую читать»... Полковник вынужден вчера эстафетой потребовать войско, а они, уж Бог знает как и откуда, прослышали о войске и думают, что это войско и придет к ним с настоящей волею, – ну, и ждут вот, да еще и соседних мутят, и соседи тоже поприходили.

– М-да... «енарал»... Пропишет он им волю! – с многозначительной иронией поплоскал губами и щеками полковник, отхлебнув из стакана глоток пуншу, и повернулся к Хвалынцеву: – Я истощил все меры кротости, старался вселить благоразумие, – пояснил он докторально-авторитетным тоном. – Даже пастырское назидание было им сделано, – ничто не берет! Ни голос совести, ни внушение власти, ни слово религии!.. С прискорбием должен был послать за военной силой... Жаль, очень жаль будет, если разразится катастрофа.

Но... опытный наблюдатель мог бы заметить, что полковник Болеслав Казимирович Пшецыньский сказал это «жаль» так, что в сущности ему нисколько не «жаль», а сказано оно лишь для красоты слога. Многие губернские дамы даже до пугливого трепета восхищались административно-воинственным красноречием полковника, который пользовался репутацией хорошего спикера и мазуриста.

– Нэобразованность!.. – промолвил господин становой семинарски-малороссийским акцентом. – Это все от нэобразования!

² Вообразите, представьте себе (фр.).

³ В конце концов (фр.).

⁴ Один бог ведает, что именно (фр.).

⁵ Отсюда гнев (лат.).

– Русски мужик свин! – ни к селу ни к городу ввернул и свое слово рыженький немец, к которому никто не обращался и который все время возился то около своих бульдогов, то около самовара, то начинал вдруг озабоченно осматривать ружья.

– Н-да, это грустный факт! – изящно вздохнул предводитель. – Я никак не против свободы; напротив, я англичанин в душе и стою за конституционные формы, *mais... savez-vous, mon cher*⁶ (это «*mon cher*» было сказано отчасти в фамильярном, а отчасти как будто и в покровительственном тоне, что не совсем-то понравилось Хвалынцеву), *savez-vous la liberté et tous ces réformes*⁷ для нашего русского мужика – *c'est trop tôt encore!*⁸ Я очень люблю нашего мужичка, но... свобода необходимо требует развития, образования... Надо бы сперва было позаботиться об образовании, а то вот и выходят подобные сцены. ...

Хвалынцеву стало как-то скверно на душе от всех этих разговоров, так что захотелось просто плюнуть и уйти, но он понимал в то же время свое двусмысленное и зависимое положение в обществе деликатно арестовавшего его полковника и потому благоразумно воздержался от сильных проявлений своего чувства.

– Да, – заметил он с легкой улыбкой, – но дышать-то ведь хочется одинаково как образованному, так и необразованному...

Предводитель тоже своеобразно улыбнулся и, не возразив ни слова, сосредоточенно стал крутить папироску. Зато Болеслав Казимирович очень нехорошо передернул усами и, пытливо взглянув искоса на студента, вышел из комнаты.

– Лев Александрович! – многозначительно кивнул он предводителю из-за двери – и тот сейчас же удалился.

– А что, не отлично я разве распорядился с арестацией этого студиозуса? – вполголоса похвалился полковник. – Помилуйте, ведь это красный, совсем красный, каналья!.. Уж я, батенька, только взгляну – сейчас по роже вижу, насквозь вижу всего!..

– Н-да, но что толку арестовать-то его?.. Только нас стесняет... Ну, его! пускай себе едет!

Пшецыньский удивленно выпучил глаза и покачал головою.

– Ай-ай-ай, Лев Александрович! Как же ж это вы так легкомысленно относитесь к этому! «Пускай едет»! А как не уедет? А как пойдет в толпу да станет бунтовать, да как если – борони Боже – на дом нахлынут? От подобных господчиков я всего ожидаю!.. Нет-с, пока не пришло войско, мы в блокаде, доложу я вам, и я не дам лишнего шанса неприятелю!.. Выпустить его невозможно.

Полковник, очевидно, очень трусил неприятеля. Будучи храбрым и даже отважным в своей канцелярии, равно как и в любой губернской гостиной, и на любом зеленом поле, – он пасовал перед неведомым ему неприятелем – русским народом. Но боязни своей показать не желал (она сама собой иногда прорывалась наружу) и потому поторопился дать иное, но тоже не совсем для себя бесполезное значение вызову предводителя на секретное слово.

– А что я вас хотел просить, почтеннейший Лев Александрович, – вкрадчиво начал он, улыбаясь приятельски-сладкой улыбкой и взяв за пуговицу своего собеседника. – Малый, кажется мне, очень, очень подозрительный... Мы себе засядем будто в картишки, а вы поговорите с ним – хоть там, хоть в этой комнате; вызовите его на разговорец на эдакий... пускай-ко выскажется немножко... Это для нас, право же, не бесполезно будет...

Предводитель помялся, поморщился, но не сделал ни малейшего возражения полковнику.

⁶ Но... знаете ли, мой дорогой (фр.).

⁷ Видите ли, свобода и все эти реформы (фр.).

⁸ Пока еще слишком рано (фр.).

- Ваше высокобородие! Генерал требуют! – громогласно доложил жандарм, в эту самую минуту показавшись в передней.
- Как генерал?!.. разве уж приехал? – оторопело спохватился Пшецыньский.
- Сычас звольли прибыть.
- Ай-ай, батюшки мои!.. Живей мундир!.. Поворачивайся, каналья!.. Скорее!.. Полковник со всех ног бросился облекать себя в полную парадную форму.

II

Великое и общее недоразумение

Как только в городе Славнобубенске была получена эстафета полковника Пшецыньского, так тотчас казачьей сотне приказано было поспешно выступить в село Высокие Снежки и послано эстафетное предписание нескольким пехотным ротам, расположенным в уезде на ближайших пунктах около Снежков, немедленно направиться туда же.

Не доходя верст пяти до Высоких Снежков, военный отряд был опережен шестеркою курьерских лошадей, которые мчали дорожный дормез. Из окошка выглянула озабоченная физиономия генерала, мимолетом крикнувшего командиру отряда, чтобы тот поспешил как можно скорее. Рядом с генералом сидел адъютант, а на козлах и на имперьяле – два ординарца из жандармов. Через несколько минут взмыленная шестерка вомчалась в село и оставилась на стоялом дворе, в виду волнуемой площади.

Тысячегрудое и долгое «ура!» загремело над толпой народа, но вновь прибывшим лицам трудно было впопыхах разобрать настоящий смысл и значение этого могучего приветствия. В эту минуту, под впечатлением обстоятельств нынешнего и прошлых дней, им понятнее была одна только оглушительная, грозная сторона крика, та сторона, которая заставляет скорее мелькать в воображении представления о бунтовщиках, кольях, топорах, дубинах... Новоприбывшие скрылись за дверь в горницу. Ординарцы вслед за ними внесли тут же чемоданы и прочую дорожную принадлежность. Генерал тотчас же послал за Пшецыньским.

А между тем к нему, точно так же, как и к Хвалынцеву, вздумали было нахлынуть сивобородые ходоки за мир, но генеральский адъютант увидел их в окно в то еще время, как они только на крыльцо взбирались, и не успев еще совершенно оправиться от невольного впечатления, какое произвел на него тысячеголосый крик толпы, приказал ординарцам гнать ходоков с крыльца, ни за что не допуская их до особы генерала.

Но пока он сам одевался и обчищался, да пока одевался и шел к генералу, в сопровождении жандарма, полковник Пшецыньский, с неизменным револьвером в кармане, – впечатление внезапного испуга успело уже пройти, и адъютант встретил в сенях Пшецыньского, как подобает независимому адъютанту, сознающему важность и власть своего генерала.

– Вы, полковник, наделали Бог знает что! – внушительно и даже отчасти строго начал он, когда Пшецыньский не без некоторой заискивающей почтительности поклонился ему. – Зачем вы изволили потребовать войско?.. Разве вы не могли обойтись и без этой крайней меры?.. Зачем вам военная сила, когда вы должны были укрощать силой вашего личного авторитета... Его превосходительство недоволен вами... Все, что говорю я, – я передаю вам от лица его превосходительства... Что это здесь за исправники! Что это за земская полиция, которая допускает подобные беспорядки!.. Это ни на что не похоже-с!.. Так, ей-Богу, служить нельзя!

– Помилуйте, истощены все меры кротости... ни голос религии, ни сила власти, ничто... – зарпортовал было Пшецыньский, отчасти смутившийся столь начальственным и бесцеремонным тоном адъютанта, на обер-офицерских погонах которого сидело всего только три звездочки. Но адъютант, почти не слушая Болеслава Казимировича, отворил дверь и жестом пригласил его войти для личных объяснений к его превосходительству, а сам, даже с некоторым похвальным бесстрашием, вышел на крыльцо – сделать рекогносцировку относительно настроения и положения в данный момент бунтующей толпы. Он сам в душе даже приятно пощекотал себя похвалою за это бесстрашие, по поводу которого вдруг почувствовал себя, в некотором роде, героем.

Почти перед самым крыльцом был теперь поставлен столик, которого прежде адъютант не заметил. Он был покрыт чистой, белой салфеткой с узорчато расшитыми каймами,

и на нем возвышался, на блюде, каравай пшеничного хлеба да солонка, а по бокам, обнажа свои головы, стояли двое почтенных, благообразных стариков, с длинными, седыми бородами, в праздничных синих кафтанах.

Едва ступил адъютант на крыльцо, как многие головы в крестьянской толпе мгновенно обнажились, а старики, стоявшие у хлеба, почтительно отвесили ему по глубокому поясному поклону.

Поручик, юный годами и опытностью, хотя и знал, что у русских мужиков есть обычай встречать с хлебом и солью, однако полагал, что это делается не более как для проформы, вроде того, как подчиненные являются иногда к начальству с ничего не значащими и ничего не выражающими рапортами; а теперь, в настоящих обстоятельствах, присутствие этого стола с этими стариками показалось ему даже, в некотором смысле, дерзостью: поми-луйте, тут люди намереваются одной собственной особой, одним своим появлением задать этому мужичью доброго трепету, а тут вдруг, вовсе уж и без малейших признаков какого бы то ни было страха, выходят прямо перед ним, лицом к лицу, два какие-то человека, да еще со своими поднесениями! Поручик возжелал с первой же минуты показать свою твердость и силу, коими сам в душе намеревался немало полюбоваться, возжелал, что называется, сделать впечатление, или «faire une juste impression»⁹, как подумал он в буквальной точности.

– Эт-та что такое?! Что это значит?! – резко и строго возвысил он голос, указывая то на каравай, то на бороды выборных.

– От мира! Хлеб да соль вашим милостям! – проговорили старики, сопровождая слова свои вторичным поклоном.

– Вы кто такие?.. Откуда? Какие люди? Как смели вы!

– Мы выборные, батюшко, от мира...

– Какой я вам «батюшка»! Не видите разве, кто я? – вспылил адъютант, принявший за дерзость даже и «батюшку», после привычного для его дисциплинированного уха «вашего благородия». При том же и самое слово «выборные» показалось ему зловеще многозначительным: «выборные... власти долой, значит... конвент... конституционные формы... самоуправление... революция... Пугачев» – вот обрывки тех смешанно-неясных мыслей и представлений, которые вдруг замелькали и запутались в голове поручика при слове «выборные».

– Бунтовщики!.. Обмануть надеетесь!.. Задобрить хотите! – закричал и затопал он на стариков. – Тут с бунтовщиками угощаться не станут! К вам приехали порядок водворять, а не есть тут с вами!.. Вон отсюда!.. Убрать все это сейчас же!.. Вот я вас!

Старики оторопели и в величайшем недоумении переглянулись друг с другом.

– Ну! что же вы стали?.. Непокорство!.. Эй, ординарцы! Взять их!

И по слову адъютанта, два жандарма вмиг распорядились как следует с выборными. Столик с салфеткой, и с блюдом, и с караваем тотчас же исчез куда-то, словно бы его и не бывало, – и одно только недоумение все более и более разливалось на старческих лицах.

После столь энергического приступа к делу поручику показалось, что он уже достаточно задал предварительного страха и что теперь мужики будут чувствовать к его особе достойное уважение.

Кончив объяснение с Пшецыньским, генерал вышел на крыльцо. Полковник как-то меланхолически выступал за ним следом, держа в руках «Положение». На крыльце генерала встретили только что подошедшие в это время становой с исправником и предводитель Корытников, на котором теперь вместо шармеровского пиджака красовался дворянский мундир с шитым воротником и дворянская фуражка с красным околышем.

⁹ Произвести нужное впечатление (фр.).

Предводителя генерал удостоил поклона и даже рукопожатия, а становому с исправником буркнул сквозь зубы одно только: «Стыдно, господа, стыдно!»

Но те решительно не поняли, почему это им должно быть стыдно.

– Ну, не шуметь, ребята! – громко закричал генерал толпе. – Я с вами говорить желаю... Смирно!

Толпа стояла тихо: в ней улегались волны и гул последних движений; она, казалось, напряженно ждала чего-то. Шапки все более и более слетали с голов.

– Тихо!.. тихо, ребята!.. Слухай!.. Сейчас, верно, заправскую читать будет! – пробегал по толпе сдержанный говор.

– Смирно! – еще громче повторил генерал. – Пускай ко мне выйдут несколько человек. Я с ними буду говорить, а они потом пусть всем остальным сообщат мои слова.

В толпе опять заколыхались и минут через пять более десятка толковых мужиков вышли из массы и, без шапок, с видом явного уважения, подошли к генералу.

– Вы видите, кто я? – начал он, указывая на свою грудь и плечи.

– Видим, батюшко, енарал! Видим! – поклонились те.

– Понимаете, кто я?

– Как-ста не понять!.. Понимаем... все понимаем.

– Ну, то-то же!.. Теперь скажите мне, зачем вы бунтуете, властям не покоряетесь?

– Где же мы бунтуем, батюшко, ваше благородие! – заговорили мужики. – Эк ли люди-то бунтуют!.. Мы только обиду свою ищем, а бунтовать не желаем... Зачем бунтовать?.. Мы бунтовать не согласны! Обстой ты нас, батюшко! будь милостивцем!

– А зачем вы толпами на площадь собрались? Это разве не мятеж, по-вашему? – продолжал генерал.

– Собрались мы, кормилец, затем, чтобы всем миром от тебя самого волю услышать...

От нас настоящую-то волю скрали.

– Как? Что? Какую волю?.. Вам была уже читана воля – чего же вы еще хотите?

– Какая ж это воля, батюшко, коли нас снова на барщину гонят... Как, значит, ежели бы мы вольные – шабаш на господ работать! А нас опять гонят... А мы супротив закона не желаем. Теперь же опять взять хоть усадьбы... Эк их сколько дворов либо прочь сноси, либо выкуп плати! это за што же выкуп?.. Прежде испокон веку и отцы, и деды все жили да жили, а нам на-ко-ся вдруг – нельзя!

– Дураки! для вашей же пользы! – пояснил генерал. – Ведь вы неравно помещику дом сожжете, потом чересполосица выходит, а вам не все ль равно? Тут один помещик только в убытке!

– Да как же мужику без усадьбы – сам посуди ты, ваше благородие! – загалдели переговорщики. – Мужику без усадьбы да без земли никак невозможно! А иной из нашего брата и сам себе усадьбу-то ставил за свой кошт, а теперича за нее плати... Этого мы несогласны!

– Да ведь земля господская! – снова пояснил генерал.

– Нет, батюшко, мы – господские, точно, что господские, – а земля наша! Искони нашей была! потому без земли уж какой же это мужик? Самое последнее дело!

– Земля по закону – господская, и вы если не хотите с нее усадьбу, должны выкуп платить по соглашению. Затем, перехожу я к душевому наделу: для вас же, дураков, для вашей же собственной пользы и выгоды, чтобы вам же облегчение сделать, вместо платежа за землю по душевому наделу, вам пока предлагают работу, то есть замену денег личным трудом, а не барщину, и ведь это только пока.

– Поймите вы различие между личным трудом и барщиной! – поучающим тоном вмешался адъютант, обратясь особо к нескольким личностям из той же кучки переговорщиков: – Личный труд никак не барщина; личный труд – это личный труд... Все мы несем личный

труд – и я, и вы, и... и все, а барщина совсем другое; она только при крепостном праве была, – понимаете?

– Да ведь это по нашему, по мужицкому разуму – все одно выходит, – возражали мужики с плутоватыми ухмылками. – Опять же видимое дело – не взыщите, ваше благородие, на слове, а только как есть вы баре, так барскую руку и тянете, коли говорите, что земля по закону господская. Этому никак нельзя быть, и никак мы тому верить не можем, потому – земля завсягда земская была, значит, она мирская, а вы шутите: господская! Стало быть, можем ли мы верить?

– Ваше превосходительство! явное недоверие!.. даже к словам вашего превосходительства! – подшепнул Пшецыньский. – И это ли еще не бунт?! Это ли не восстание?!

– Значит, вы мне не верите? – спокойно спросил генерал.

– Да что ж, коли ты, батюшко, по-нашему выходит, совсем не дело говоришь-то!

– Да ведь закон... – вмешался было Пшецыньский.

– Да что закон! – перебили его в кучке переговорщиков. – Ты, ваше благородие, только все говоришь про закон; это один разговор, значит! А ты покажи нам закон настоящий, который, значит, за золотою строчкою писан, тогда и веру вам дадим, и всему делу шабаш!

– Любезные мои, такого закона, про какой вы говорите, нет и никогда не бывало, да и быть не может, и тот, кто сказал вам про него, – тот, значит, обманщик и смутитель! Вы этому не верьте! Я вам говорю, что такого закона нет! – убеждал генерал переговорщиков.

– Эва-ся нет!.. Как нет!.. Мы доподлинно знаем, что есть, – возражали ему с явными улыбками недоверия. – Это господа, значит, только нам-то казать не хотят, а что есть, так это точно, что есть! Мы уж известны в том!

Несколько времени длились еще подобные споры. Одна сторона тщетно старалась убедить в несуществовании закона за золотою строчкою; другая же крепко стояла на своем, выражая явное недоверие к словам своих убедителей. И дело, и взаимные отношения обеих сторон с каждой минутой запутывались все более, так что в результате оставалось одно только возрастающее недоразумение. Утомленный продолжительностью и полнейшею бесплодностью всех этих переговоров, генерал почти безнадежно махнул рукой и ушел на некоторое время в горницу освежиться от только что вынесенных впечатлений и сообразить возможность и характер дальнейших своих действий. Дело, на его взгляд, все более и более начинало принимать оборот весьма серьезный, с исходом крайне сомнительного свойства.

На крыльце остались адъютант с Пшецыньским да почти совсем пассивная и безмолвная группа, составленная из предводителя и станowego с исправником.

Пшецыньский, с особо энергическим красноречием, укорял мужиков-переговорщиков за то, что те выказали такое недоверие к словам генерала, а адъютант продолжал доказывать, что личный труд – отнюдь не барщина. Мужики же в ответ им говорили, что пуцай генерал покажет им свою особую грамоту за царевой печатью, тогда ему поверят, что он точно послан от начальства, а не от арб, а адъютанту на все его доводы возражали, что по их мужицкому разуму прежняя барщина и личный труд, к какому их теперь обязывают, выходит все одно и то же. Недоразумение возрастало. Юный поручик все более и более терял необходимое хладнокровие и начинал не в меру горячиться.

– Да уж что толковать! – порешили, наконец, переговорщики, почесав затылки. – Деньги мы, так и быть, платить, пожалуй, горазды, а на барщину не согласны.

– Кто не согласен? – перебил адъютант и обратился к одному из кучки: – Ты не согласен?

– Я-то ничего, да мир не согласен; значит, все, батюшко, высокое твое превосходительство, все, как есть все не согласны – весь мир, значит! – отвечивал тот.

– Я не про всех спрашиваю! Я спрашиваю тебя: ты не согласен?

– Да я что ж, батюшко, – я человек мирской – куды мир, туды, знамо дело, и я.

– Отвечай мне, каналья! – грозно затопал поручик. – Ты не согласен?
– Виновати, батюшко! – поклонился оторопевший, но все-таки уклончивый мужик.
– Что такое «виновати»? Что это значит «виновати»?! Я тебя в последний раз спрашиваю: ты не согласен?
– Не согласен... – тихо и путаясь, ответил допрашиваемый.
– Взять его! – мигнул поручик жандармам, – и мужика вытащили из кучки и увели в калитку стоялого двора.
– Ты не согласен? – обратился адъютант к следующему.
– Не согласен, ваше благородие.
– Взять и этого!
– Ты?
– Не согласен.
– Туда же!
– Да все не согласны! весь мир не согласен! – закричали из толпы те передние ряды, которым была видна и слышна расправа адъютанта.
– Братцы! да что ж это он мужиков-то хватает? – недоумело стали поговаривать там. – За что же это?.. А волю-то не читает!..
– Ваше благородие! – громко выкрикнул чей-то голос оттуда. – Не томи ты нас! будь милостивцем! вычитай ты нам волю-то скорее!..
– Волю! Волю! – подхватили из той же толпы несколько сотен.
– Кто смел закричать «волю»? – поднял адъютант к толпе свою голову. – Кто зачинщики? Выходи сюда!
В толпе никто не шелохнулся.
– Господин становой пристав, отыщите и возьмите зачинщиков!
– Помылуйтэ, ни як нэ можно! – расставя ладони и пожимая плечами, флегматически залепетал было становой.
– В противном случае, вы будете строго отвечать перед законом! – начальнически-отчетливым тоном пояснил адъютант, выразительно сверкнув на него глазами и безапелляционно приглашающим жестом указал ему на толпу.
Физиономию господина станового передернуло очень кислой гримасой, однако, нечего делать, он махнул рукою под козырек и потрусил к толпе. Там поднялось некоторое движение и гул. Становой ухватил за шиворот первого попавшегося парня и потащил его к крыльцу. Парень было уперся сначала, но позади его несколько голосов ободрительно крикнули ему: «не робей, паря! не трусь! пушай их!» – и он покорно пошел за становым, который так и притащил его за шиворот к адъютанту.
Парень стоял без шапки, смиренно и почтительно.
– Ты зачинщик?.. ты крикнул «волю»? – напустился на него рьяный поручик.
– Нет, не я... я не кричал, – ответил тот, почти без всякого смущения.
– А! запираешься!.. Я тебя заставлю ответить!
– Что ж, ваше благородие, – твоя воля! – подернул тот плечами. – Мы люди темные, ничего не понимаем, – научи ты нас, Христа ради! Мы те во какое спасибо скажем!
– Отвечай, кто зачинщики! – настаивал между тем поручик.
Тот молчал, понуро потупясь.
– Взять его! – скомандовал он жандармам – и парня утащили в калитку.
Увы!.. этот блестящий и в своем роде – как и большая часть молодых служащих людей того времени – даже модно-современный адъютант, даже фразисто-либеральный в мире светских гостиных и кабинетов, который там так легко, так хладнокровно и так административно-либерально решал иногда, при случае, все вопросы и затруднения по крестьянским делам – здесь, перед этою толпою решительно не знал, что ему делать! Он чувствовал, так

сказать, полнейшее отсутствие почвы под ногами, чувствовал какую-то неестественность, неловкость в своем положении, смутно сознавал, что слишком увлекся и чересчур зарвался, так что походил скорее на Держиморду, чем на блестящего, современного адъютанта. Куда девался весь либерализм, все эти хорошие слова и красивые фразы! И что досаднее всего, – это держимордничество проявилось как-то так внезапно, почти само собою, даже как будто независимо от его воли, и теперь, словно сорвавшийся с корды дикий конь, пошло катать и скакать через пень в колоду, направо и налево, так что юный поручик, даже и чувствуя немножко в себе Держиморду, был уже не в силах сдержать себя и снова превратиться в блестящего, рассудительного адъютанта. Держимордничество – как часто случается в иных людских, а особенно в кадетских натурах – словно порывистый вихрь, подхватило его, как оторванную от корня ветвь, и закружило и понесло по своему произволу... Он не знал, что говорить, что предпринять, на что решиться, чувствовал, что ему лучше всего было бы с самого начала ничего не говорить и ни на что не решаться, но... теперь уже поздно, теперь уже зарвался – и потому, начиная терять последнее терпение, адъютант все более и более горячился и выходил из себя. Мужики не понимали его, он – мужиков. Точно так же не понимали они и генерала; генерал же, в свою очередь, не мог уразуметь их в том пункте, что земля, признаваемая законом собственностью помещика, со стороны крестьян вовсе таковою не признается, а почитается какою-то искони веков ихнею земскою, мирскою собственностью: «мы-де помещичьи, господские, а земля наша, а не барская».

Это было одно всесовершенное, общее, великое недоразумение.

До этой минуты либеральному поручику приходилось толковать о русском народе только в приятных гостиных, да и толковать-то не иначе как с чужих слов, с чужих мыслей. Теперь же, когда обстоятельства поставили его лицом к лицу с этою толпою, – русский мужик показался ему бунтовщиком, мятежником, революционером... Он вспомнил, что в русской истории был Стенька Разин и Емельян Пугачев. Да и не один он, а и все эти представители власти чувствовали себя как-то не совсем ловко, и всем им хотелось как-нибудь наполнить время до решительной минуты, когда войско уж будет на месте. Многие из них ждали, что один грозный вид военной силы сразу утишит восстание и заставит толпу покориться и выдать зачинщиков.

– Читайте им «Положение»! Об их обязанностях читайте! – обратился полковник Пшецыньский к становому, испытывая точно такую же неловкость и не зная сам, для чего и зачем тот будет читать.

Становой глянул на него недоумелыми глазами – дескать, ведь уж сколько же раз было им читано! – однако выступил вперед и раскрыл книгу.

По толпе опять пробежал смутный гул – и она замолкла чутко, напряженно...

Толпа жадно слушала, хватая на лету из пятого в десятое слово, и ничего не понимала. В ней, как в одном человеке, жило одно только сознание, что это читают «заправскую волю».

* * *

Ковыляя по грязям и топям большой дороги, форсированным маршем приближалась к Высоким Снежкам военная сила! В голове серевшей колонны колыхался частокол казацких пик, а глубоко растянувшийся хвост ее терялся за горою. Вот, осторожно ступая по склизкому скату, кони спустились на плотину у мукомольной мельницы, прислонившейся внизу, у ручьиного оврага, перебрались на противоположную сторону, – и казачий отряд, разделяясь на две группы, тотчас же на рысях разъехался вправо и влево, и там и здесь растянулся широкою цепью, отделяя от себя где одного, где пару казаков, окружил село и занял все выходы. Вот близ того же оврага остановилась пехота. Люди стянулись, сомкнули стройные ряды и оправились. Через несколько минут марш колонны направлялся уже по широкой, опустелой

улице села. Одни только собаки тьякали из подворотен на незнакомый им люд, да иногда петухи, своротив на сторону красные гребни, как-то удивленно оглядывали с высоты крестьянских плетней это воинственное шествие. Здесь как будто вымерла вся людская жизнь, и только на задах кое-где, да на выходах, между соломенными кровлями и древесными прутьями, торчало там и сям стальное острие казацкой пики... Весь народ – стар и млад – гудел вдали на широкой площади.

Раздался барабанный бой. Отряд входил уже на площадь и строился развернутым фронтом против крестьянской толпы, лицом к лицу. Толпа в первую минуту, ошеломленная рокотом барабанов и видом войска, стояла тихо, недоуменно...

Рыженький немец-управляющий, с рижской сигаркой в зубах, флегматически заложив за спину короткие руки, вытащил на своре пару своих бульдогов и вместе с ними вышел на крыльцо господского дома – полюбоваться предстоящим зрелищем. Вслед за ним вышел туда же и Хвалынцев. Сердце его стучало смутной тоской какого-то тревожного ожидания.

– Что же, вы поняли, что читали вам? – обратился к толпе Пшецыньский.

Толпа молчала.

Тот повторил вопрос, на который ответом последовало, опять-таки, то же самое недоуемое молчание. Аdjutant окончательно вышел из себя. Он отказывался верить, чтоб смысл читаемого, столь ясный для него, был непонятен крестьянам.

– Бунтовщики! Вы отвечать не хотите! – закричал он. – Хорошо же! с вами найдут расправу!

Генерал снова появился перед народом.

– Батюшко! не сердчай! – завопили к нему голоса из толпы. – А дай ты нам волю настоящую, которая за золотую строчкою писана! А то, что читано, мы не разумеем... Опять же от барщины ослобони нас!

– Ваше превосходительство! – в почтительно-совещательном тоне обратился адъютант к своему принципалу. – Мне казалось бы, что не мешало бы распорядиться послать за попом – пусть увещевает... Надо первоначально испытать все средства.

Через несколько минут привели священника, с крестом в руках, и послали увещевать толпу. И говорил он толпе на заданную тему, о том, что бунтовать великий грех и что надо выдать зачинщиков.

– Да какие же мы бунтовщики! – послышался в толпе протестующий говор. – И чего они и в сам деле, все «бунтовщики» да «бунтовщики»! Кабы мы были бунтовщики, нешто мы стояли бы так?.. Мы больше ничего, что хотим быть оправлены, чтобы супротив закону не обижали бы нас... А зачинщиков... Какие же промеж нас зачинщики?.. Зачинщиков нет!

– Как нет?.. Что они там толкуют? – почтительно косясь и оглядываясь на генерала и, видимо, желая изобразить перед ним свою энергическую деятельность, возвысил голос Пшецыньский, который сбежал с крыльца, однако же не приближался к толпе далее чем на тридцать шагов. – Должны быть зачинщики! Выдавай их сюда! Пусть все беспрекословно выходят к его превосходительству!.. Вы должны довериться вашему начальству! Выдавай зачинщиков, говорю я!

– Да все мы зачинщики!.. Все, как есть! – дружно грянуло над толпою. – Все здесь! всех бери!

Пшецыньский торопливо попятился и неловко споткнулся о камень. В толпе раздался хохот.

– Я шутить не стану! – строго заметил генерал. – Господин исправник! господин предводитель! прошу отправиться к ним и повторить мои слова, что никакой другой воли нет и не будет, что они должны беспрекословно отправлять повинности и повиноваться управляющему, во всех его законных требованиях, и что, наконец, если через десять минут (генерал посмотрел свои часы) толпа не разойдется и зачинщики не будут выданы, я буду стрелять.

– Надо будет стрелять, ваше превосходительство! – почтительнейше подшепнул Пшецыньский, успевший уже вернуться на крыльцо. – К сожалению, надо будет стрелять!.. Иначе ничего не сделаем... Необходим разительный пример.

Генерал ничего не ответил, но в душе был согласен с опытным полковником: все это по внешности действительно казалось бунтом весьма значительных размеров, тогда как на самом деле оставалось все-таки одно лишь великое обоюдное недоразумение. По соображениям власти, медлительность и нерешительность ее, ввиду того тревожного, исполненного глухим брожением в народе времени, которое тогда переживалось, могла отозваться целым рядом беспорядков по обширному краю, если оказать мало-мальское потворство на первых порах, при первом представившемся случае. Таковы были соображения власти.

Между тем исправник и monsieur Корытников отправились в толпу передавать слова генерала, а сам генерал поспешил к неподвижно стоявшему войску.

– Ребята! – обратился он к солдатам. – Помните, что ружье дано солдату затем, чтобы стрелять!.. Перед вами бунтовщики, поэтому будьте молодцами.

– Рады стараться, ваше-ство-о! – откликнулся фронт.

А в толпе все рос и крепчал гул да говор... волнение снова начиналось, и все больше, все сильнее. Увещения священника, исправника и предводителя не увенчались ни малейшим успехом, и они возвратились с донесением, что мужики за бунтовщиков себя не признают, зачинщиков между собою не находят и упорно стоят на своем, чтобы сняли с них барщину и прочли настоящую волю, и что до тех пор они не поверят в миссию генерала, пока тот не объявит им самолично эту «заправскую волю за золотою строчкою».

– Стрелять... стрелять необходимо, ваше превосходительство! – снова подшепнул со вздохом подвернувшийся под руку Пшецыньский, и вздох его явно стремился выразить последнюю, грустно безвыходную решимость крайнего отчаяния.

Либерально-почтительный адъютант был того же мнения и в душе даже как будто подбодрился тем, что в такую минуту близ него есть люди, разделяющие его собственное убеждение. «Imaginez-vous¹⁰, – мог бы потом он рассказывать в петербургских гостиных, – огромная толпа... с другой стороны войско... и вдруг залп!.. О, это была ужасная, поразительная картина!.. Это был своего рода эффект, которого я никогда не забуду!» По странному сочетанию мыслей в голове поручика в эти минуты главнейшим образом рисовалось то, как он будет рассказывать в Петербурге о том, чему предстояло совершиться через несколько мгновений. Он не думал, как именно все это совершится, но знал, что он будет потом рассказывать об этом очень красивыми, изобразительными фразами.

– Господин майор! – закричал меж тем генерал батальонному командиру. – Изготовьтесь к пальбе!

– Батальон, – жай! – раздалась с лошади зычная команда командира, – и мгновенно блеснув щетиной штыков, ружья шаркнулись к ноге. Шомпола засвистали и залягали своим железным звуком в ружейных дулах. Крестьянская толпа в ту ж минуту смолкла до той тишины, что ясно можно было слышать сухое щелканье взводимых курков.

Этою-то минутою думал было не без эффекта воспользоваться ретивый поручик.

– Ваше превосходительство! позвольте испытать... в последний раз... последнее средство! – быстро забормотал он, обратясь к генералу, и затем, почти не дожидаясь ответа, повернулся к толпе.

– На колени! – повелительно закричал он. – На колени!.. Покоряйтесь, или сейчас стреляют!

– Что ж, стреляй, коли те озорничать хочется! – ответили ему из толпы. – Не в нас стрелишь – в царя стрелять будешь... Мы – царские, стало, и кровь наша царская!..

¹⁰ Вообразите (фр.).

С крыльца махнули в воздух белым платком. Вслед за этим знаком отчетливо пронеслась команда: «батальон – пли!» – и залп холостым зарядом грянул.

Толпа вздрогнула, но молчала. Передние, совершенно молча, внимательно огляделись вокруг себя: никто не пал, никто не стонет – все живы, целы, стоят, как стояли. Первая минута смущенного смятения минула. Мужики оправались.

– Эге, робя! никак шутки шутят! – громко заметил один молодой парень. – Небось, в царских хрестьян стрелять не посмеют!

– Это они только так, гороху наперлись! – ответил какой-то шутник.

В толпе захохотали.

Снова мелькнул в воздухе белый платок.

Рой пуль просвистал над головами.

Толпа инстинктивно пригнулась... Опять осматриваются – опять ни единый человек не повалился.

Это уже породило недоумение: свист нескольких сотен пуль был явственно слышен, – отчего ж никого не убило?

– Братцы! мужички почтенные! – раздался чей-то голос. – Сам Бог за наше сиротское дело: пули от нас отгоняет!.. не берут! Стой, братцы, на своем твердо!

– Стоим!.. стоим! Постоим за мир!.. Господи благослови! – пронеслись по толпе ответные крики.

Раздался первый роковой залп, пущенный уже не над головами. И когда рассеялось облако порохового дыма, впереди толпы оказалось несколько лежачих. Бабы, увидя это с окраин площади, с визгом бросились к мужьям, сынам и братьям; но мужики стояли тихо.

– Ну, пошто вы, ваши благородия, озорничаете!.. Эка сколько мужиков-то задаром пристрелили! – со спокойной укоризной обратился к крыльцу из толпы один высокий, ражий, но значительно седоватый мужик. – Ребята! подбери наших-то! свои ведь! – указал он окружающим на убитых. – Да бабы-то пушай бы прочь, а то зашибуть неравно... Пошли-те вы!..

И затем, выступив на несколько шагов вперед, снова обратился к группе, помешавшейся на крыльчке:

– Ну, а ты, ваше благородие, теперича стреляй!

Раздался второй боевой залп – и несколько мужиков опять повалились... А когда все смолкло и дым рассеялся, то вся тысячеглавая толпа, как один человек, крестилась... Над нею носились тихие тяжкие стоны и чей-то твердый, спокойный голос молился громко и явственно:

«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежать от лица Его ненавидящие Его...»

Заклокотала короткая дробь третьего залпа.

Крестьяне не выдержали: шарахнулись, смешались и бросились куда кому попало.

В гуле и стоне можно было расслышать иногда крики: «воля!.. воля!» – с которыми все это бежало вон из села.

Но там ожидали казаки.

III

Расправа

Восстание было укрощено.

Мужики, не пущенные на выходах казаками, разбежались кое-как по избам, а крестьяне соседних деревень, окруженные конвоем, были согнаны на господский двор, и там – кто лежа, кто сидя на земле – ожидали решения своей участи. Казачьи патрули разъезжали вокруг села, за околицами, и не выпускали из Снежков ни единой души.

Завечерело, и с сумерками стало подмораживать к ночи. На площади зажглись яркие костры: батальон расположился там бивуаком. Людей постереглись до времени ставить постоем к бунтовщикам, пока не была еще произведена окончательная расправа. Окна помещичьего дома – немые и темные Бог весть с коих пор – тоже осветились, точно как в те умершие старые годы, когда там ликовала широкая барская жизнь. И ныне, как в оны дни, на дворе стояли разнокалиберные экипажи и бегала дворовая прислуга, военные денщики, вестовые, ординарцы, и стучали ножи на кухне. В этом опустелом доме нашли себе временный приют офицеры батальона и все наехавшие сюда власти, господствия и силы. В одном из особых флигелей поместился полковник Пшецыньский и, вместе с генеральским адъютантом, запершись во временном своем кабинете, озабоченно строчил официальное донесение. Это донесение должно было завтра же лететь в Петербург.

Поручик чувствовал себя не совсем-то в духе. Теперь, когда прошло уже несколько часов с той минуты, как на площади раздавались залпы, – мужицкая кровь наводила на него некоторое уныние и тревожную озабоченность о том, как взглянут на все это там, в Петербурге. Пока еще не раздались эти выстрелы, адъютант почему-то воображал себе, что все это будет как-то не так, а иначе, и как будто легче, как будто красивее, а на деле оно вдруг оказалось совсем по-другому – именно так, как он менее всего мог думать и воображать. Дело было слишком свежо для того, чтобы в памяти поручика стерлись некоторые эпизоды и сцены мужицкого бунта. Особенно как-то странно и вместе с тем смутно-зловеще для него самого звучали ему недавние слова: «не в нас стрелишь – в царя стрелять будешь; мы – царские, стало, и кровь наша царская». Какое странное слово в устах бунтовщика! Какая странная мысль в голове революционера!.. Чем больше думал поручик, тем больше становилось ему все как-то не по себе, было как-то неловко... быть может, отчасти перед собственной совестью.

Зато Болеслав Казимирович Пшецыньский не беспокоился нимало. Он бойко и живо строчил рапорт к своему начальству, и энергическое красноречие его лилось каскадом. Он особенно поставлял на вид, как были истощены все возможные меры кротости, как надлежащие власти христианским словом и вразумлением стремились вселить благоразумие в непокорных, – но ни голос совести, ни авторитет власти, ни кроткое слово св. религии не возымели силы над зачерствелыми сердцами анархистов-мятежников, из коих весьма многие были вооружены в толпе топорами, кольями и вилами.

Когда, прочитывая свой рапорт адъютанту, он дошел до этого последнего места, поручик остановил его легоньким возраженьцем, что кольев он, сколько ему помнится, не заметил.

– Нет-с, были! были! наверное были! – с живостью зашепшил заверить Пшецыньский. – Но... видите ли, очень легко могло случиться, что вы с его превосходительством и не обратили на это внимания, собственно по недостатку времени, – пояснил он с иезуитски-кроткою, простодушною улыбочкою. – А я сидел здесь до вашего прибытия двое суток и, поверьте мне, – видел, своими собственными глазами видел. Иначе зачем же мне было ходить с заряженным револьвером? Наша жизнь подвергалась большой опасности, и этим-

то... – Пшецыньский приостановился и, не спуская пристальных глаз с поручика, постарался особенно подчеркнуть смысл своих последующих слов, – этим-то я и объясняю наши крайние меры.

Поручик понял Пшецыньского и одобрительно кивнул ему головой. Пшецыньский, с своей стороны, тоже понял поручика.

– Конечно, мы имели и причины так действовать и... тово... полномочия, – начал последний, как-то заминаясь и пережевывая слово за словом: очевидно, он затруднялся высказать прямо начисто его тайную, тревожную мысль о своем опасении. – Но... знаете... такое время... эти разные толки... этот «Колокол» наконец... понимаете ли, как взглянуть на это?

– О, что касается до этого, – с оживлением предупредил Пшецыньский, – мы можем быть спокойны... Есть печальные и опасные события, когда крайние меры являются истинным благодеянием. Ведь – не забудьте-с! Волга, – пояснил он с весьма многозначительным видом, – это есть, так сказать, самое гнездо... историческое-с гнездо мятежей и бунтов... Здесь ведь раскольники... здесь вольница была, Пугачевщина была... Мы пред Богом и совестью обязаны были предупредить, подавить... В таком смысле я и рапорт мой составляю.

Последние слова были тоже особенно подчеркнуты, по примеру прежних.

Адъютант еще раз одобрительно кивнул ему головой. Опасения его за Петербург – город слишком далекий от Волги вообще и от Славнобубенска в особенности – стали проясняться. Болеслав Пшецыньский успел очень ловко внушить ему свою программу и дать направление к объяснению сегодняшних действий.

* * *

А между тем в вечернем сумраке, при зареве солдатских костров да при тусклом свете фонарей, на площади происходила другая сцена. Там распорядилась земская полиция.

Раненые были давно уже прибраны; насчет же убитых только что «приняли меры». Они все были сложены рядком, а политая кровью земля, на тех местах, где повалились эти трупы, тщательно вскапывалась теперь солдатскими лопатами, чтоб поскорей уничтожить эти черные кровавые пятна.

В темноте, вслед за тускло-мигавшими огоньками фонарей, длинным рядом двигались человеческие фигуры. На рогожках да на носилках солдаты выносили покойников из села на отдаленный пустырь, где только что рыть кончили глубокую общую могилу.

Ни плачу, ни причитаний не было слышно; ни знакомых, ни сродников не было видно – один только вооруженный конвой сопровождал этот погребальный вынос, и во мгlistой тишине одни только солдатские шаги шлепали по лужам деревенской улицы, едва затянувшимся в ночи тонкой ледяной корой.

У могилы ожидал уже церковный причет и священник в старенькой черной ризе. Убитых свалили в яму и начали петь панихиду. Восковые свечи то и дело задувало ветром, зато три-четыре фонаря освещали своим тусклым колеблющимся светом темные облики людей, окружавших могилу и там, внутри ее, кучу чего-то безобразного, серого, кровавого.

Скоро была съедена солдатская крупа, и костры стали гаснуть, оставляя после себя широкие пепелища с красными тлеющими угольями. Батальон гомонился и засыпал на своем холодном бивуаке. Все село казалось в темноте каким-то мертвым: нигде ни голоса людского, ни огонька в оконце. Вдалеке только слышался топот казачьих патрулей, да собаки заливались порою.

В господском доме тоже мало-помалу потухли огни.

Рыженький немец спокойно удалился в свой флигелек, пропустил на сон грядущий рюмочку шнапсу, закусил его домодельною ветчиною, которую запил куфелем домашнего

пива, и, закулив рижскую сигарку, стал размышлять... вероятнее всего, о дикости русского народа.

В одном только покое адъютанта долго еще светился огонь, потому что долго ходил адъютант по комнате и ломал голову над композицией своего донесения. Впрочем, на случай какого-либо чрезвычайного затруднения, обязательный Пшецыньский был под рукою.

Не спал еще и Хвалынцев. Все ощущения и впечатления дня навели на него какую-то темную тоску и лихорадочную нервность. Он не знал, зачем его арестовали и потом словно бы оставили и позабыли про него, не знал, что делать завтра или, лучше сказать, что с ним намерены делать, а между тем дела требовали его в Славнобубенск. Это глупое, фальшивое положение и эта неизвестность нагоняли на него досаду и хандру. Он, лежа на оттоманке, по другую сторону которой безмятежно храпел monsieur ¹¹ Корытников, жег в темноте папиросу за папиросой. Тоскливая досада и неулегшиеся впечатления давешних сцен далеко отгоняли сон его.

* * *

А между тем в глубокой темноте, около солдатского бивуака, потайно, незаметно и в высшей степени осторожно шныряла какая-то неведомая личность, которую трудно было разглядеть в густом и мглистом мраке; но зато часовые и дежурные легко могли принять ее за какого-нибудь своего же проснувшегося солдатика, тем более что неведомая личность эта была одета во что-то не то вроде крестьянской, не то вроде солдатской сермяги. В течение получаса этот шныряющий человек, то там, то здесь, в разных концах бивуака, осторожно подбрасывал какие-то свернутые бумаги, из которых иные были даже запечатаны в особые пакеты.

* * *

Наутро началась расправа с мятежниками. Судили их на месте, в порядке быстром, то есть безусловно административном и притом – военном. Солдат, в награду за неудобно проведенную ночь, приказано было, по совету Пшецыньского, расставить по крестьянским избам, в виде экзекуции, с полным правом для каждого воина требовать от своих хозяев всего, чего захочет, относительно пищи и прочих удобств житейских. Предварительно, впрочем, по совету все того же Пшецыньского, не забыли поблагодарить батальон за его молодецкое поведение, но при этом начальство осталось несколько недовольно тем обстоятельством, что ответное «рады стараться» пробежало по фронту как-то вяло, раздумчиво и словно бы неохотно. Неудовольство начальства еще более усилилось, когда было доложено ему о приключениях, случившихся в батальоне в течение этой ночи: один солдатик найден в овине повесившимся на своих собственных подтяжках, а двое дезертировали неизвестно куда, несмотря на бдительность казачьих патрулей.

Однако время не терпело проволочек; надо было позаботиться об окончательном укрощении и умиротворении взволнованной местности, а потому надлежало произвести немедленный суд и при этом явить примеры внушительной строгости.

Крестьяне опять были собраны на площади, но на этот раз не добровольно. Тут же стояло около тридцати обывательских подвод и несколько возов розог: часть батальона еще ранним утром отряжена была в лес нарезать приличное количество прутьев. Сек батальонный командир под руководством исправника и станового. Приговорены были к наказанию

¹¹ Господин (фр.).

и к ссылке в Сибирь несколько десятков народу, вместе с зачинщиками, в числе которых были два старика, подносившие хлеб-соль, молодой парень, вытщенный вчера становым в качестве зачинщика, и тот десяток мужиков, которые добровольно вышли вперед переговоровщиками от мира.

Между тем раненым надо было подать хоть какую-нибудь первую помощь. Начальство, отправляясь сюда, не предполагало, что придется стрелять, и потому не позаботилось о докторе, за которым Пшецыньский догадался послать только ранним утром, когда трое из раненых уже отдали Богу душу. Разговор об этом происходил в присутствии Хвалынцева. Занимаясь естественными науками, он неоднократно со времени посещения клиники, видел многие перевязки и вообще имел об этом деле некоторое маленькое понятие. Поэтому, на время до прибытия медика, он предложил исправнику свои посильные услуги. Этот последний, имея в виду трех уже умерших и нескольких человек умирающих, посоветовался с полковником, а тот доложил выше – и предложение Хвалынцева великодушно было принято, только с условием, чтобы все это осталось под секретом. Вместе с деревенским священником принялся он кое-как ухаживать за ранеными.

А наутро наехало в Снежки несколько окружных помещиков, бурмистров, управляющих – все за тем, чтобы поразведать о вчерашних происшествиях. Приехала, между прочим, и пожилая вдова помещица, которая во всем околотке известна была под именем Перепетуи Максимовны. Фамилии ей как-то не полагалось, а мужики, сами по себе, издавна уже окрестили ее «Драчихой», по причине сорокалетней слабости ее к ручной расправе. Становой сообщил ей, что в числе раненых есть один из ее Драчихиной деревни, Драчиха непременно пожелала видеть «мятежника».

– А, хамова душа твоя! – с каким-то самодовольно-торжествующим видом обратилась она к больному. – Так и ты тоже бунтовать! Я тебе лесу на избу дала, а ты бунтовать, бесчувственное, неблагодарное ты дерево эдакое! Ну, да ладно! Вот погоди, погоди! выздоравливай-ка, выздоравливай-ка! Вы, батюшка, доктор, что ли? – обратилась она вдруг к Хвалынцеву.

– Нет, сударыня, не доктор.

– Ну, так, верно, фершал?

– Положим, хоть и так. А что?

– А то, что, пожалуйста, лечи ты мне эту каналью поисправнее. Уж я сама поблагодарю тебя прилично, только вылечи ты мне его бесприменно.

– А зачем вам, сударыня, это так нужно?

– А у меня, мой батюшка, в том свой интерес есть; для того что, как он выздоровеет, так чтобы наказать его примерно.

– Ну, теперь-то наказывать вам самим, пожалуй что, и не придется: он уж и так наказан, – заметил с подобающею скромностью священник.

– Как, батюшка, не придется! – всполошилась Драчиха. – Да что ж я, по-твоему, не власть предержащая, что ли? Сам поп, значит, должен знать, что в Писании доказано: «властям предержащим да покоряются», – а я, мой отец, завсегда власть была, есть и буду, и ты мне мужиков такими словесами не порти, а то я на тебя благочинному доведу!

Священник, при имени благочинного, извиняющимся образом развел руками и замолкнул.

– А как теперь, батюшка, душевой-то надел тех, что убиты, в чью пользу пойдет? – тут же обратилась Драчиха к становому

– В точности неизвестен, а надо так думать, что в пользу помещика, ежели полного тягла не окажется, – пояснил становой.

– А моих мужичков-то много ли убито? – с живостью поинтересовалась Драчиха.

Но не все помещики оказались одного толка с Драчихой. Многие из приехавших ради любопытства приняли раненых из своих деревень на свое собственное попечение и доставили им всевозможные удобства.

А на площади между тем раздавались крики, стоны и бабий плач с причитаньями. Одних наказывали и отпускали домой, других сажали на подводы и объявляли сибирскую ссылку. Тут было широкое место для раздирающих душу сцен расставанья с отцами, с братьями, с сыновьями... Многие жены, с грудными ребятами, добровольно шли в ссылку за своими мужиками. Почти каждый из ссыльных, прихватя в заплечный мешок кое-что из одежды да из домашней рухляди, завертывал в особую тряпицу горсть своей исконной, родной земли, с которою отныне расставался навеки, и благоговейно уносил с собою эту горсть в неведомую, далекую сторону.

Быстро сотворя суд над зачинщиками, начальство уехало обратно в Славнобубенск, распорядясь оставить в Снежках целый батальон на неопределенное время, в виде экзекуции, и предоставя окончательное умиротворение исправнику да становому.

Пшецыньский вместе с Корытниковым вскоре тоже отправились. Впрочем, перед отъездом штаб-офицер благосклонно разрешил Хвалынцеву ехать куда ему угодно и даже с видом скорбяще-благодарной гуманности рассыпался перед своим вчерашним пленником в извинениях по части ареста и в благодарностях по части ухаживанья за ранеными.

– Такое печальное событие... так мне это больно! – наедине и притом оглядываясь, говорил он, с грустными ужимками и даже вздохами. – Я никак не мог предполагать, что дело дойдет до этого... но... но... мы люди подчиненные! (Глубокий вздох.) Во всяком случае, за человечество благодарю вас от лица человеколюбия... Только, пожалуйста, не разглашайте этого никому, а то могут быть к нам придирки, зачем допустили к делу постороннего человека... Ведь вы знаете, какие у нас на матушке Руси порядки!.. Формалистика, батюшка! Что делать!..

И говоря это, Болеслав Казимирович обеими руками крепко, долго и горячо потрясал руку Хвалынцева, который с своей стороны был весьма доволен своим отпуском из плена и, ввиду всего совершившегося, не почел особенно удобным добиваться у полковника объяснения причин своего непонятного ареста.

С величайшим трудом, при помощи священника, наконец-то удалось ему за учетверенную плату порядить себе лошадей и отправиться вслед за отбывшими властями.

IV «Пошла писать губерния!»

По всему граду Славнобубенску ходили темные и дикие вести о снежковских происшествиях, и, можно сказать, с каждой минутой слухи и вести эти росли, ширились и становились все темнее, все дичее и нелепее. Одни слухи повествовали, будто власти сожгли деревню дотла и мужиков, которых не успели пристрелить, живьем позакапывали в землю. Другие пояснили, что между адъютантом и Пшецыньским какая-то японская дуэль происходила и что Болеслав Храбрый исчез, бежал куда-то; что предводителя Кoryтнiкова крестьяне розгами высекали; что помещица Драчиха, вместе с дворовым человеком Кирюшкой, который при ней состоит в Пугачевых, объявила себя прямой наследницей каких-то французских эмиссаров и вместе со снежковскими мужиками идет теперь на город Славнобубенск отыскивать свои права, и все на пути живущее сдается и покоряется храброй Драчихе, а духовенство встречает ее со крестом и святою водою.

Таких-то необычайных и фантастических вестей и слухов был полон Славнобубенск, когда прикатили в него герои снежковского укрощения.

Губернатор тотчас же полетел к генералу, вице-губернатор туда же; первые вестовщики порядочного общества – прокурор де-Воляй и губернаторский чиновник Шписс бросились к губернатору и, не застав его дома, махнули к Пшецыньскому; Кoryтнiков проскакал к губернаторскому предводителю князю Кейкулатову, князь Кейкулатов опять же таки к генералу; полицмейстер и председатель казенной палаты к Кoryтнiкову, градской голова к полицмейстеру; графиня де-Монтеспан к губернаторше, *madame*¹² Чапыжниковой, *madame* Ярыжниковой и *madame* Пруцко к графине де-Монтеспан; Фелисата Егоровна и Нина Францовна к *madame* Ярыжниковой и *madame* Чапыжниковой; г-жи Иванова, Петрова, Сидорова к Фелисате Егоровне и к Нине Францовне; разные товарищи председателей, члены палат секретари и прочие бросились кто куда, но более к Шписсу и де-Воляю, а де-Воляй со Шписсом ко всем вообще и в клуб в особенности.

Лихой полицмейстер Гнут (из отчаянных гусаров) на обычной паре впристяжку (известно, что порядочные полицмейстеры иначе никогда не ездят как только на паре впристяжку), словно угорелый, скакал сломя голову с Большой улицы на Московскую, с Московской на Дворянскую, с Дворянской на Покровскую, на Пречистенскую, на Воздвиженскую, так что на сей день не успел даже завернуть и в Кривой переулочек, где обитала его Дульщина.

Словом сказать – «пошла писать губерния!». Треск и грохот, езда и движение поднялись по городу такие, что могло бы показаться, будто все эти господа новый год справляют вместо января да в апреле.

Какое широкое, блестящее поле открылось *monsieur* Кoryтнiкову и Болеславу Храбром для самых героических рассказов! Каждый из них, наперерыв друг перед другом, старался везде и повсюду втиснуть прежде всего свое собственное я, я и я. Зуд любопытства, с каким их слушали, доходил до своего рода чесотки. Болеслав Храбрый, впрочем, прохаживался более все насчет истощения всех мер кротости и вселения благоразумия, причем ни голос совести, ни слово религии, и прочее, и прочее, что уже давно известно читателю. Зато *monsieur* Кoryтнiков, в своем пестром галстуке и щегольском шармеровском пиджаке, являл из себя истинного героя. Он повествовал (преимущественно нежному полу) о том, как один и ничем не вооруженный смело входил в разъяренную и жаждущую огня и крови толпу мятежников, как один своей бесстрашною грудью боролся противу нескольких тысяч

¹² Госпожа (фр.).

зверей, которые не испугались даже и других боевых залпов батальона, а он одним своим взглядом и словом, одним присутствием духа сделал то, что толпа не осмелилась его и пальцем тронуть.

– Конечно, – прибавлял Корытников, – я знал, что иду почти на верную смерть, я понимал всю страшную опасность своего положения; но я шел... я шел... *puisque la noblesse oblige...* ¹³ Это был мой долг.

– Ну и что ж? – чуть не задыхаясь, вопрошали его.

– Ну, и ничего, *comme vous voyez!* ¹⁴ Но, знаете ли, как бы ни была раздражена толпа, на нее всегда действует, и эдак магически действует, если против нее и даже, так сказать, в сердце ее появляется человек с неустрашимым присутствием духа... Это покоряет.

Короче сказать, выходило что *monsieur* Корытников чуть ли не один, своей собственной персоной, усмирил все восстание. Нежный пол и без того питал элегантную слабость к его шармеровским пиджакам, а теперь стал питать ее еще более, по поводу неустрашимости. *Monsieur* Корытников в глазах нежного пола сделался героем. Нельзя сказать, однако, чтоб и в своих собственных глазах он не был бы тем же. И только один раз смешался и сконфузился он, когда кто-то сообщил ему, что в его отсутствие по Славнобубенску пошли было слухи, будто крестьяне снежковские его немножко тово... розгами посекали. Но, покраснев, он с негодованием отвергнул такое невероятное предположение, и даже сам потом, при встречах и разговорах, всем и каждому, в виде предупреждения, торопился высказать:

– Представьте себе! *On parle qu'on m'a rossé!.. Qu'on m'a rossé!..* ¹⁵ Слыхали ли вы об этом?

К вечеру весь город уже знал, приблизительно в чертах, более или менее верных, всю историю печальных снежковских событий, которых безотносительно правдивый смысл затемняли лишь несколько рассказы Пшецыньского да Корытникова, где один все продолжал истощать меры кротости, а другой пленял сердца героизмом собственной неустрашимости.

Общество Славнобубенска разделилось на две партии. Одна, к которой принадлежали весь высший административный мир и несколько крупных дворян, поздравляла водворителей порядка и готовила несколько оваций. Другую партию составляли, в некотором роде, плебеи: два-три молодых средней руки помещика, кое-кто из учителей гимназии, кое-кто из офицеров да чиновников, и эта партия оваций не готовила, но чутко выжидала, когда первая партия начнет их, чтобы заявить свой противовес, как вдруг генерал с его адъютантом неожиданно был вызван телеграммой в Петербург, и по Славнобубенску пошли слухи, что на место его едет кто-то новый, дабы всетщательнейше расследовать дело крестьянских волнений и вообще общественного настроения целого края. Обе партии остановились в нерешительности ожидания.

¹³ Поскольку положение обязывает... (фр.).

¹⁴ Как видите сами (фр.).

¹⁵ Говорят, что меня поколотили!.. Что меня поколотили! (фр.).

V En petit comité¹⁶

И вот, в один прекрасный день, славнобубенский губернатор, действительный статский советник и кавалер Непомук Анастасьевич Гржиб-Загржимбайло, что называется, *en petit comité* кормил обедом новоприбывшего весьма важного гостя. Этим гостем была именно та самая особа, которая, по заранее еще ходившим славнобубенским слухам, весьма спешно прибыла в город для расследования снежковского дела и для наблюдения за общественным настроением умов.

Барон Икс-фон-Саксен казался особой вполне блистательной и являл из себя перетянутую в рюмочку смесь петербургского *haute volée*¹⁷ дендизма и государственной мудрости. Он старался казаться человеком, которому ближайшим и самым доверенным образом известны все высшие планы, предначертания, намерения и решения, который «все знает», потому что посвящен во все государственные и политические тайны первой важности, но знает их про себя, и только порою, как бы вскользь и ненароком дает чувствовать, что ему известно и что он может... И вместе с тем барон так мил, так любезен, так галантен, так изящен, барон в дамском обществе осторожно и с таким тактом дает чувствовать, что он тоже большой руки *folichon*¹⁸, пред которым тают и покоряются сердца женские...

Очаровательная и обольстительная *madame* Гржиб (она по всей губернии так уж известна была за очаровательную и обольстительную) казалась в этот день, перед петербургским светилом, еще очаровательней и еще обольстительней – если только это было возможно. *Madame la generale*¹⁹ все скучала по Петербургу; провинциальная жизнь и губернская скука расстраивали ей нервы и причиняли страдание, которое она называла «тиком». Ей только и оставалось одно развлечение – это музыка и «ея бедные»: и бедных, и музыку она очень любила; но теперь *madame* Гржиб так рада, в таком восторге, в таком восхищении, что приехал из Петербурга блистательный барон Икс-фон-Саксен, с которым можно сказать «человеческое слово».

Сам *monsieur* Гржиб встщательнейше старался показаться наилюбезнейшим хозяином, опытейшим и твердым администратором и наидобрейшим человеком, у которого душа и сердце все преодолевают, кроме служебного долга. Притом же повар у него был отличный, выписанный из московского английского клуба, а купец Санин поставлял ему самые тонкие вина и превосходные сыры и сигары.

Остальными членами этого *petit comité* были: губернаторский чиновник по особым поручениям, маленький черненький Шписс (вероятнее всего, из могилевских жидков) и губернский прокурор Анатоль де-Воляй – прелестный молодой правовед, славнобубенский лев и денди, который пленял сердца своим высоким тенором и ежедневно свежими перчатками. Всегда усердно преданный Шписс и пленительный Анатоль составляли высший цвет славнобубенской молодежи административно-аристократического мира и состояли неизменными членами и адъютантами гостиной *madame* Гржиб-Загржимбайло.

Итак, если взвесить все эти ингредиенты, в виде Шписса, Анатоля, сыров и сигар, вин, повара, любезности хозяина и очаровательности самой хозяйки, входившие в состав совокупного угощения, то нет ничего мудреного, что блистательный гость, барон Икс-фон-Саксен, чувствовал себя в самом благодушнейшем настроении и расположен был питать

¹⁶ В тесном кругу (фр.).

¹⁷ Высокого полета (ирон., фр.).

¹⁸ Шалун (фр.).

¹⁹ Госпожа генеральша (фр.).

и к Шписсу с Анатолом, и к Непомуку Анастасьевичу, и тем паче к самой прелестнейшей Констанции Александровне самые нежные, благоуханные чувствования.

Обед был кончен, и общество перешло в гостиную, меблированную, как и все губернаторские гостиные, или что одно и то же – как и все губернаторские дома, где мебель и вся принадлежность, заведенные на казенный счет лет сорок тому назад, всецело переходят по наследству от одного губернатора к другому. Но в этой меблировке, само собою разумеется, все явно было на известного рода представительность. Гостиная даже была не без комфорта. Все общество уселось вокруг камина, куда были принесены и поставлены на маленьких столиках кофе и различные ликеры.

Madame Гржиб, полнокровно-огненная и роскошная брюнетка, постоянно желала изображать из себя создание в высшей степени нервное, идеально-тонкое, эфирное и потому за столом кушала очень мало. Это, между прочим, она делала для того, чтобы не портить своего голоса, который и Анатолю со Шписсом, и весь элегантный мир Славнобубенска находили безусловно прекрасным, а в данную минуту Констанция Александровна намеревалась еще произвести своим пением решительный эффект перед блистательным гостем.

Между Шписсом, Анатолом и самою генеральшей уже успело образоваться нечто вроде маленького заговора. Ее превосходительство желала, чтобы дорогой и блистательный гость унес с собою самое приятное воспоминание о своем пребывании в Славнобубенске, и потому они сразу проектировали в будущем загородный пикник на картинном берегу Волги, два вечера, один бал и «благотворительный» спектакль с живыми картинами в пользу «наших бедных», в котором должны были принять участие исключительно только благородные любители. Сама Констанция Александровна предназначала для себя главные две роли: одну в тургеневской «Провинциалке», где прелестный Анатолий должен был изображать графа; другую – роль Татьяны в оперетке «Москаль Чарыбник», ибо тут madame Гржиб могла показать всю силу и гибкость своего очаровательного голоса. Черненький Шписс поспешно вызвался при этом сыграть подьячего Финтика. Что касается до живых картин, то тут madame Гржиб должна была появиться, во-первых, в виде «молодого грека с ружьем», потом «царицей ночи» и наконец полупрозрачно «Вакханкой у ручья». Словом сказать, блистательный барон должен бы был уехать из Славнобубенска не иначе как вконец очарованным.

Послеобеденным разговором почти безраздельно владел дорогой гость. Губернаторша только задавала вопросы, прилично ахала, вставляла сожаления о своей собственной славнобубенской жизни и оживленно восхищалась рассказами барона, когда тот, в несколько небрежном тоне, повествовал о последней великосветской сплетне, о придворных новостях, о Кальцоляри и Девериа, да о последнем фарсе на Михайловской сцене.

Вдруг вошел дежурный жандарм, неизменно пребывающий в губернаторской прихожей, и подал губернатору пакет: «стахета вашему превосходительству».

Непомук, для показания возможной быстроты в делах службы, не терпящих вообще ни малейшего отлагательства, очень спешно сорвал печать и, многозначительно нахмутив брови, принялся за чтение. Едва добежав глазами до половины бумаги, он засопел и всполошился.

– Боже мой! Опять!.. Опять бунт!.. Мятёж... восстание!.. И это у меня!.. У меня! в моей губернии!.. Второй бунт!.. Вот до чего уже дошло!.. Вот они, плоды... – говорил он с видом встревоженного Зевеса, но дошел до «плодов» и запнулся, ибо спохватился, что новоприбывший гость взирает на эти «плоды» со стороны самой либеральной.

Между тем барон, не подымаясь даже с кресел, лениво протянул к нему руку за бумагой и, не выпуская из зубов сигары, стал читать самым спокойным образом.

Это была эстафета от полковника Пшецыньского, который объяснял, что, вследствие возникших недоразумений и волнений между крестьянами деревни Пчелихи и села Кор-

шаны, невзирая на недавний пример энергического укрощения в селе Высокие Снежки, он, Пшецыньский, немедленно, по получении совместного с губернатором донесения местной власти о сем происшествии, самолично отправился на место и убедился в довольно широких размерах новых беспорядков, причем с его стороны истощены уже все меры кротости, приложены все старания вселить благоразумие, но ни голос совести, ни внушения власти, ни слова святой религии на мятежных пчелихинских и коршанских крестьян не оказывают достодолжного воздействия, – «а посему, – писал он, – ощущается необходимая и настоятельная надобность в немедленной присылке военной силы; иначе невозможно будет через день уже поручиться за спокойствие и безопасность целого края».

Окончив чтение, барон умеренно рассмеялся в том роде, как смеются взрослые над детскими страхами.

– Ха, ха, ха! – изящно смеялся он, немножко в нос и немножко сквозь зубы, как только и умеют смеяться после обеда одни высокоблаговоспитанные люди. – Бунт, восстание!.. ха, ха, ха!.. Этот полковник, должно быть, большой руки трус... Зачем он там?.. Да и вообще, скажите мне, что это? Я давеча не успел хорошенько расспросить у вас.

– Да помилуйте, барон, – горячо начал Непомук, как бы слегка оправдываясь в чем-то, – третьего дня мы получили от тамошнего исправника донесение, что, по дошедшим до него слухам, крестьяне этих деревень толкуют между собой и о подложной воле, – ну, полковник тотчас же и поехал туда... дали знать предводителю... исправник тоже отправился на место... а теперь вдруг – опять бунт, опять восстание!..

– Ха, ха, ха! – в том же тоне продолжал гость. – И сейчас уже войско!.. И к чему тут войско?.. будто нельзя и без войска делать эти вещи!.. Тут главное – нравственное влияние своей собственной личности, а не войско. Я уверен, что все это пустяки: просто-напросто мужички не поняли дела; ну, пошумели, покричали – их за это наказать, конечно, следует... внушить на будущее время, но зачем же войско!

– Ах, барон! Но ведь вы не знаете, – с фешенебельным прискорбием вмешалась генеральша, – вы не знаете, что это за народ! эта прислуга, например! Ну, на что уже я – губернаторша – и я даже несколько терплю от моей прислуги, и я не могу узнать ее за последние годы... Конечно, со мной они еще не очень уж забываются, но... вообще эта эмансипация их совсем разбаловала... Нет, на первых же порах надо, непременно надо показать им меры строгости, – иначе мы все небезопасны!

Барон только улыбнулся и рыцарски поклонился ей в ответ на эту тираду – дескать, сударыня, пока я здесь – можете почивать покойно.

Губернаторша поняла смысл этого поклона, – и гость был награжден за него улыбкой самого обворожительного свойства.

– Вообще я уверен, что все это пустяки, – авторитетно продолжал барон, – эти господа не умеют говорить с народом; я поеду туда... я покажу им... Помилуйте, как с какими-нибудь мужиками не управиться!.. ха, ха, ха!..

– Comment!.. et vous aussi!..²⁰ Вы тоже хотите ехать туда? – не без страшливого участия расширила на него глаза генеральша.

– Непременно... и даже сегодня... Мой долг – быть там! – немножко рисуясь, ответил барон, внутренне весьма довольный собою по двум причинам: во-первых, что успел отчасти заявить свою будущую неустрашимость, а во-вторых, тем, что возбудил участие и даже опасение за свою личность такой прелестной особы. В эту минуту он почувствовал себя, в некотором роде, героем.

²⁰ Как! И вы тоже! (фр.).

– Так, стало быть, вы, барон, полагаете, что войска посылать не следует? – совещательно обратился к нему Непомук, заранее изображая выражением своего лица полнейшее и беспрекословное согласие с мнением блистательного гостя.

Блистательный гость немножко призадумался.

«А ну как там и в самом деле черт знает какая кутерьма?» – мелькнуло у него в уме в это мгновение.

– Мм... нет, уж надобно послать, – ответил он совершенно равнодушным тоном. – Потому – видите ли – этот полковник, вероятно, успел уже там и мужикам погрозиться войском... так, собственно, я полагаю, на всякий случай надо послать... для того единственно, чтобы в их глазах авторитет власти не падал.

Непомук вполне согласился с этим мнением. «А так-то оно все как будто понадежнее», – подумал про себя барон фон-Саксен и через несколько времени откланялся губернаторше, пожелавшей ему всяких успехов, и удалился сделать некоторые распоряжения к предстоящему отъезду, как нельзя более довольный собою и даже полный мечтами о предстоящих гражданских подвигах.

В этот вечер он решительно казался самому себе героем.

Губернаторша втайне была о нем того же мнения.

Сам Непомук никакого мнения не выразил, но Шписс вместе с прелестным Анатолом помчались по всему городу и потом в клуб рассказывать интересные новости о том, как они обедали нынче у губернатора вместе с бароном Икс-фон-Саксенем, и что при этом говорил барон, и что они ему говорили, и как он отправился в Пчелиху самолично укрощать крестьянское восстание, и что вообще барон – это un charmant homme ²¹, и что они от него в восторге.

Весь город Славнобубенск необыкновенно интересовался новоприезжим блистательным гостем. Про него уже кое-где начинали даже ходить своеобразно-фантастические легенды. Однако же, увы! барону не удалось ни в Пчелихе, ни в соседних с нею Коршанах проявить свое гражданское мужество. Прискакав на место, он, вопреки своим ожиданиям, не нашел ни площади, залитой массами народа, ни яростных воплей мятежа, ни кольев, ни дубин с топорами: мужики самым обыденным порядком справлялись у себя, по своим дворам, около домашнего обихода, и ничто ни малейшим образом не подавало намека на то, о чем столь красноречиво извещало донесение. Барона это озадачило. Он застал еще на месте исправника и полковника Пшецыньского, который с кислотоватой физиономией собирался, подобру-поздорову, уезжать восвояси.

Дело было таким образом: между крестьянами Пчелихи и Коршань действительно ходили темные слухи о подложной воле, о грамоте «за золотую строчкою». Бдительное начальство тотчас же не упустило, конечно, заявить об этом. Приехал Пшецыньский, велел собрать на площадь всю деревню. Когда деревня была собрана, он энергически стал укрощать бунтовщиков, но бунтовщики, по обыкновению, за бунтовщиков себя не признали, и потому полковник прибегнул к укрощению еще более энергическому с помощью десятка казаков, которые, как известно, имеют обыкновение носить при себе нагайки. Мужики при этом самовольно разбежались по избам, вследствие чего полковник и послал эстафету с требованием военной силы. Мужики, проведавши об этом и вспомня кстати Высокие Снежки, что называется, воем взвыли и послали к полковнику выборных со слезным прошением не губить их животишек. Полковник потребовал выдачи «зачинщиков». Мужики опять взвыли, потому что зачинщиков указать не могли, по той довольно простой причине, что таковых и не было между ними. Кто же пустил слухи о золотой строчке? А Христос его ведает кто! Сказывали, будто в кабаке какой-то прохожий не то парень, не то дворовый человек по виду. А

²¹ Очаровательный человек (фр.).

кто сказывал? Сказывал Гаврилка Косой да Степан Бурлаков. Подать сюда Косого и Степана Бурлакова! Они-то, значит, и есть первые распространители смутительных слухов! Подали Гаврилку со Степаном. Вы распространяли? Виновати, батюшка! В колодки их да в острог на следствие! Забили в колодки и отправили под конвоем, а в деревне все тихо и спокойно. Полковник не доверяет и ждет волнения, но о таком и в помине нет. Полковник все-таки ждет – волнение не приходит. Он начинает сердиться, потом приходит в некоторое уныние, физиономия его окисляется недовольством – и Болеслав Казимирович приказывает закладывать себе лошадей, как вдруг в эту минуту, нежданно-негаданно, приезжает блистательный барон Икс-фон-Саксен, в своем выразительном военном мундире. Полковник поражен, полковник озадачен, но все это длится не более минуты: вдохновение свыше осенило его голову – и с сияющим лицом он почтительнейше докладывает его превосходительству, что сколь ни трудно было ему, Пшецыньскому, при усердном содействии местной власти водворить порядок, тишину и спокойствие, но, наконец, меры кротости совокупно с увещанием св. религии воздействовали – и авторитет власти, стараниями их, восстановлен вполне. Барон остается очень доволен усердием и действиями местных властей и в особенности столь почтительного к его особе полковника и уезжает с твердым намерением исходатайствовать этому усердию достодолжную награду, в сладостной надежде на которую уезжает вслед за ним и Пшецыньский.

VI Накануне тризны

– Monsieur Хвалынцев! Monsieur Хвалынцев! – закричал и замахал с дрожек monsieur Корытников, встретясь со студентом под вечер на Дворянской улице.

Тот остановился.

Корытников спрыгнул к нему на тротуар.

– Не хотите ли участвовать? Подпишитесь-ка!

– В чем участвовать? На что подписаться прикажете?

– На обед. Мы от всего нашего общества – ну, и администрация тоже – устраиваем обед в клубе, по подписке – пятнадцать рублей с персоны.

– Да ради чего же это?

– Mais comment ²² «ради чего!» Обед в честь барона фон-Саксена – понятное дело!

– Извините, monsieur Корытников, немножко не понимаю, – недоумевая, возразил Хвалынцев. – Зачем же это в честь барона?

– Ну-у! Voilà la question!.. ²³ Надо же выразить ему наше... э-е... наше сочувствие... нашу признательность. Ведь целый край в опасности... Ваши собственные интересы: да и вы сами наконец, comme un membre de la noblesse ²⁴, можете пострадать, если бы не Саксен, – ведь почему знать – все еще может случиться!..

– Да; но покамест-то он еще ровно ничего не сделал такого, за что мы могли бы заявлять нашу признательность: человек только что едва приехать успел.

– Ну, вот, как вы все понимаете! – чуть-чуть подфыркнул предводитель. – «Не сделал!» ну, все равно сделает! Это все равно. Так как же? Подпишетесь?

– Нет, уж увольте! – сухо вато поклонился Хвалынцев.

– Mais pourquoi pas? ²⁵ – удивился Корытников.

– Да так. Я ведь не из крупных собственников, и, коли вы уж так хотите знать причину, для меня и пятнадцать рублей – деньги.

Предводитель не мог скрыть легкой, пренебрежительной и как бы сожалеющей усмешки.

– А жаль! – процедил он сквозь зубы – Обед проектирован прекрасный, чтоб уж лицом в грязь не ударить: и музыка, и спичи будут, и все такое...

– Ну, желаю вам приятного аппетита, – поклонился Хвалынцев и, повернувшись, пошел себе далее.

«Эге! так вот ты из каких гусей!» – с некоторой злобой оскорбления подумал ему вслед Корытников, в маленьком замешательстве прыгая на свою щегольскую эгоистку.

«И это предводитель!.. Этот пробковый манекен для шармеровских костюмов!» – не без горечи подумал, в свою очередь, Хвалынцев.

– Ба!.. Приятель!.. Дружище!.. Какими судьбами? – растопырив объятия, загородил ему вдруг дорогу маленький плотный человек, плотно выстриженный под гребенку.

– Господи помилуй!.. Устинов!.. Да ты ли это? – радостно изумился Хвалынцев.

– Как видишь! Самолично, своей собственной персоной!.. Вот встреча-то!.. Ну, облобызаемся!

²² Но как (фр.).

²³ Вот в чем вопрос! (фр.).

²⁴ Как дворянин (фр.).

²⁵ Но почему бы и нет? (фр.).

И приятели обнялись, и мягкие, немного влажные губы Устинова вlepили три звонких поцелуища в розовые щеки Хвалынцева.

– Ты никуда теперь особенно не торопишься? – спросил Устинов.

– Ровнехонько никуда. Просто вышел себе пошататься.

– Ну, так – правое плечо вперед и – марш ко мне в мое логово! Испьем сначала пива, по-старому, а потом потолкуем. Повестуй мне, как, что, почему и зачем и давно ли ты здесь?

– Можно! – согласился Хвалынцев. – Да скажи, пожалуйста, какими ты-то судьбами?

– Э! ангел мой! Я уже тут около года – прямо с университетской скамейки. Учителствую, славнобубенское юношество математикой просвещаю. Славные, черт возьми, ребята! Да, кстати! – ударил он себя по лбу. – Ты ведь, конечно, с нами завтра?

– То есть где это с вами? Когда?

– Да разве не слышал? Завтра, в четыре часа, после вечерни, у Покрова панихида случится по убитым в Снежках.

– А! да?.. Но что ж это только теперь хватились?

– Не знаю доподлинно – так уж вышло. Будут гимназии, семинарии, из офицерства кое-кто и еще кое-кто из порядочных людей... Там будешь?

– Конечно, да! – с охотой подтвердил Хвалынцев. – А ты слышал? завтра обед в клубе.

Устинов кивнул головой.

– А ведь в Питере, пожалуй, и в самом деле подумают, что здесь и невесть какие красные страсти были, особенно как распишут-то! – Через минуту примолвил он в грустном раздумье: – Ведь этого мужика нашего там-то теперь, гляди, хуже чем поляка в стары годы почитать станут!

VII Панихида

На другой день, в четвертом часу пополудни, в городе было значительное движение, особенно по Большой и Покровской улицам. И там, и здесь катились экипажи, сновали извозчичьи пролетки и безобразные дроги, на которых вмещалось по три и по четыре человека седоков. Дамы, не имеющие счастья принадлежать к сливкам славнобубенского общества, но тем не менее сгорающие желанием узреть интересного барона Икс-фон-Саксена, несмотря на весеннюю слякоть, прогуливались по Большой улице вместе со своими кавалерами, роль которых исполняли по преимуществу господа офицеры Инфляндманландского пехотного полка, вконец затершие господа офицеров батальона внутренней стражи.

День был солнечный, весенне-яркий. Воробьи на голых прутьях да по заборам вертелись и трещали самым задорным образом. Мутные ручьи бежали по улицам. Капель звонко падала с крыш на шапки да на носы прохожему люду. Извозчичьи пролетки и «собственные» экипажи, представителью гремя по камням мостовой, обнажающимся из-под ледяной коры, останавливались перед дверьми разных магазинов, по преимуществу у первого в городе парикмахера-француза, да у единственного перчаточника, и потом, иногда, на минутку, подкатывали к клубному подъезду. Простые же, несуразные дроги направлялись более все на Покровскую улицу. Туда же торопились и пешеходы, между которыми мелькали красные околыши гимназических фуражек и шинели семинаристов.

Двери Покровской церкви были открыты. Кучка народу из разряда «публики» стояла на паперти. Частный пристав уже раза четыре успел как-то озабоченно прокатиться мимо церкви на своих кругленьких, сытых вяточках. Вот взошли на паперть и затерялись в «публике» три-четыре личности, как будто переодетые не в свои костюмы. Вот на щегольской пролетке подкатил маленький черненький Шписс, а через несколько времени показался в церкви и прелестный Анатолий де-Воляй.

Кучка «публики», ожидавшая на паперти, понемногу прибавлялась. В середине стоял высокого роста господин, в синих очках и войлочной, нарочно смятой шляпе, из-под которой в беспорядке падали ему на плечи длинные, густые, курчавые и вдобавок нечесанные волосы. Клинообразная, темно-русская борода как нельзя более гармонировала с прической, и весь костюм его являл собою несколько странное смешение: поверх красной кумачовой рубахи-косоворотки на нем было надето драповое пальто, сшитое некогда с очевидной претензией на моду; широкие триковые панталоны, покроем *à la zouave*²⁶ небрежно засунуты в голенища смазных сапог; в руке его красовалась толстая суковатая дубинка, из породы тех, которые выделяются в городе Козьмодемьянске.

Подле него, как моська перед слоном, вертелся, юлил, хлопотал и суетился крошечный, подслеповатый блондинчик, с жидкими, слабыми волосенками и мизерной щепотью какой-то скудной растительности на подбородке. Эта маленькая тщедушная юла была то, что называется золотушный пискунок, и принадлежала к породе дохленьких. Пискунок состоял чем-то вроде добровольного адъютанта или ординарца при особе своего плечистого соседа в кумачовой рубахе и в разговорах относился к нему с приятельским почтением. Остальные члены этой кучки составляли народ, более или менее знакомый и между собою, и с двумя изображенными господами.

– Что ж это плохо собираются! – суетливо пищал дохленький блондинчик, то обращаясь к окружающим, то на цыпочках устремляя взгляд вдаль по улице. – Ай-ай, господа, как

²⁶ Галифе (фр.).

же это так!.. *Наши* еще не все налицо... Пожалуйста же, господа, смотрите, чтобы все так, как условлено!.. Господа!.. господа! после панихиды – чур! не расходиться!.. Пожалуйста, каждый из вас пустите в публике слух, чтобы по окончании все сюда, на паперть: Ардальон Михайлович слово будет говорить.

При этом блондинчик самодовольно, однако не без почтительности, искоса бросил взгляд на кумачовую рубашку.

– А какое слово-то! – на ухо обратился он к одному из кучки. – То есть я тебе скажу – огонь!.. огонь!.. Экая голова-то!..

– Анцыфров! – окликнул Ардальон Михайлович своего адъютантика, который тотчас же подбежал к нему с таким видом, что необыкновенно живо напомнил собою кобелька, виляющего закорюченным хвостиком. – Ты что это, болван, болтаешь-то там!.. Не можешь на полчаса подержать за зубами!..

– А... я, Ардальон Михайлович... ведь свои же – надобно, чтобы знали... да я, впрочем, что же... я, в сущности, ничего, – оправдывался дохленький.

– Ну, то-то!.. Ты гляди у меня!.. А вот что скверно, – значительно понизил он тон, – серого-то народу почти совсем нет, чуек-то этих мало.

– Мало, Ардальоша, мало! – пожав плечами, вздохнул Анцыфров. – А для виду-то, для представительности не мешало бы...

– Так ты чего же спал-то! Ведь говорил вчера, чтобы по кабакам, да по харчевням...

– Да я, Ардальоша... упрекнуть ты меня, кажись, не можешь! Я не то что по харчевням, я и по базару пошатался.

– Пошатался! – передразнил его собеседник. – Слизняк ты, братец, вот что! – добавил он ему с весьма откровенным и презрительным пренебрежением.

Анцыфров как-то неловко помялся да искательно ухмыльнулся в ответ на эту выходку, но не возразил ни слова.

В эту минуту мимо церкви проходили два какие-то зипуна.

Ординарчик, словно пущенный волчок, мигом сбежал к ним со ступеней и остановил обоих.

– Братцы! – обратился он к ним. – Зайдите в церковь!.. Помолитесь вместе!

Те удивленно оглядели его с головы до ног.

– Помолитесь!.. за своих... за наших, за родных братьев! – продолжал меж тем дохленький.

– За каких те братьев? – спросил его зипун.

– Слыхали про Высокие Снежки? как в Снежках генералы в мужиков стреляли? Так вот, по убитым теперь панихиду правим... Зайдите, братцы!

– Панафиду?.. Нашто же это панафиду?

– Как на что! Ведь Христовы мученики, братцы! Помолитесь за упокой... Ведь это братья ваши!

– Да мы не снежковские – мы с Чурилова погоста, – возразил другой зипун. – Нам-то что!

– Все равно, братцы!.. Все мы – христиане, все в Бога веруем... все по Христу-то ведь братья! – приставал меж тем блондинчик. – Сегодня генералы в снежковских стреляли, – завтра в вас стрелять будут, – это все равно!

– В на-ас? – недоумело ухмыльнулся мужик и снова оглядел с головы до ног Анцыфрова. – Что ты, шалый, что ли!.. Пойдем, Митряй; что толковать-то! – кивнул он своему спутнику. – Пусти, барин, недосуг нам.

И мужики прошли мимо ардальоновского ординарчика, который стоял словно несолоно похлебавши и наконец медленно стал подыматься на паперть.

– Вот, сам видишь! – как бы оправдываясь, тихо обратился он к Ардальону. – Нейдут, а отчего – черт их знает!

– Оттого, что ты дурак! – с неудовольствием перекосив брови, буркнул тот ему под нос.

– Ну вот, и всегда так... – обиженно пробормотал в сторону ординарчик, разведя руками.

Подошло еще несколько публики и между прочим две-три молодые дамы, да три-четыре девицы, из которых половина была с остриженными волосами – прическа, начинавшая в то время сильно входить в употребление в кружках известного рода.

– Здравствуйте, Анцыфров!.. Полояров, здравствуйте! – обратилась одна из них к ординарцу и его патрону, протягивая обоим руку.

Полояров оглядел ее, но не поклонился и руки не подал.

– Полояров! я вам кланяюсь, я вам руку протягиваю, – не видите, что ли? Или не узнали? – широко улыбаясь, заметила ему девица.

– Нет, вижу-с и узнал-с, – возразил Ардальон. – А руки не подаю – потому терпеть не могу этих барских замашек! На кой вы черт перчатки-то напялили? аристократизмом, что ли, поразить нас вздумали? ась?

Девушка немножко сконфузилась и торопливо сдернула свои свеженькие перчатки.

– Ну, вот теперь статья иная! Давайте сюда вашу лапу! – менторски-одобрительным тоном похвалил Ардальон и крепко потряс руку девушки.

– Да что ж это богомокрицы эти нейдут панихиду козлогласовать-то нам! – обратился он к окружающим, видимо желая порисоваться и щегольнуть пикантностью своей последней фразы, впрочем целиком почерпнутой из «Колокола». – Анцыфров! слетай за ними, пригласи, что пора, мол! – публика собралась и ждет спектакля.

Анцыфров полетел за священниками.

– Послушайте, Полояров, я сейчас заглянула в церковь, – обратилась к Ардальону та самая девица, которой он сделал выговор по поводу перчаток, – вы говорили вчера, что в этом примет участие народ – там почти никого нет из мужиков?

– Ну, так что же-с? – хмуро повел брови Полояров.

– Да ведь это... как хотите – совсем не то выходит.

– А по-вашему, что же?.. Вы-то, собственно, чего же хотели бы?

– Да я... я было думала... я уверена была, что все это дело народное.

– Вы, Лубянская, все глупости думаете!.. Когда я вас отучу от этого?.. Народ! Да разве мы с вами не народ?

– Но я думала, что мужики...

– «Мужики! Мужики!» – что такое «мужики»?.. Мужики – это вздор! Никаких тут мужиков нам и не надобно. Главная штука в том, – значительно понизил он голос, наклоняясь к лицу молодой девушки, – чтобы демонстрацию сделать... демонстрацию правительству, – поймите вы это, сахарная голова!

– Но если бы с нами и мужики...

– Если бы да ежели бы, так и люди-то не жили бы! – перебил ее Полояров. – Слыхали вы про это аль нет? Однако пойдете в церковь – вон уж и козлы спешат, рубли себе чуют, – прибавил он, кивнув на приближавшегося священника с дьяконом, вслед за которыми, перепрыгивая по грязи с камушка на камушек, поспешала и маленькая фигурка Анцыфрова.

И вот, минут через пять после этого, священник с дьяконом вышли из алтаря, в черных ризах, и начали панихиду. На двух клиросах помещались хоры, составившиеся тут же из публики. На правом пели преимущественно взрослые воспитанники семинарии; на левом – кое-кто из учителей, офицеров, гимназистов, чиновников. Между присутствующими виделось несколько чуек, сермяг и полушубков, но очень и очень немного, да и то в число их

же приходилось включить и тех трех-четырех господ, которые явились сюда переодетыми в чужие костюмы.

– Эх, черт возьми! досадно! – бурчал себе сквозь зубы Ардальон, поглядывая на это скудное количество субъектов, долженствовавших изображать собою простой «народ». – Ослы! илоты!.. Ничем не прошибешь их!.. *Рассея* – матушка!

«Но... ничего: благо, и эти-то есть! – успокоительно подумал он. – Все-таки отпишем, что церковь-де была полна народом, – а там поди, поверяй нас!.. Штука-то все-таки сделана, и штука хорошая!»

Мерцание восковых свечек в руках присутствующих как-то странно мешалось с яркими лучами солнца, которые врывались за решетку церковных окон и радужно позлащали ароматные струи ладана.

Хвалынцев с Устиновым стояли, прислонясь к стене, а рядом с ними стала старушка и молоденькая девушка, при появлении которых учитель молча отвесил почтительный поклон. Обе были одеты в черное. Лицо этой девушки невольно остановило на себе внимание Хвалынцева. Нельзя сказать, чтобы оно кидалось в глаза своей красотой, – далеко нет; но в нем было нечто такое, что всегда заставляло бы человека мыслящего, психолога, поэта, художника, из тысячи женских лиц остановить внимание именно на этом. Живая душа в нем сказывалась, честная мысль сквозилась, хороший человек чувствовался – человек, который не продаст, не выдаст, который если полюбит, так уж хорошо полюбит – всею волею, всею мыслью, всем желанием своим; человек, который смотрит прямо в глаза людям, не задумывается отрезать им напрямик горькую правду, и сам способен столь же твердо выслушать от людей истину еще горчайшую. Знакомы ли вам тонкие, нежные черты белокурых женских лиц, в которых, несмотря на эту тонкость и в высшей степени женственную нежность, чувствуется здоровая мысль, характер твердый, настойчивый и сила воли энергическая? Таково именно было лицо этой молодой девушки. На вид ей казалось лет семнадцать, но она была старше: ей пошел уже двадцатый год. При небольшом росте, маленькая изящная фигурка ее отличалась гибкою стройностью. Лицо было бледно, с легким, чуть-чуть сквозящимся румянцем; на висках тонкие жилки голубели; но что придавало этому лицу особенную прелесть – это бархатно-густые, темные, длинные ресницы над выразительно-большими глазами. Когда она задумчиво опускала веки, ресницы ее кидали тень, придавая какую-то таинственную глубину взору.

Стояла эта девушка, облитая веселым солнцем, которое удивительно золотило ее светло-русые волосы, – стояла тихо, благоговейно, и на лице у нее чуть заметно мелькал оттенок мысли и чувства горького, грустного: она хорошо знала, по ком правится эта панихида... Лицо ее спутницы-старушки тоже было честное и доброе.

Хвалынцев во время службы несколько раз останавливал глаза на обоих; но лицо девушки тянуло к себе его взоры более и чаще. Раза два их взоры скрестились и встретились – и чувствовал он, что выходит это невольно, как-то само собою.

Девушка Лубянская и с нею две ее стриженные подружки стояли рядом с Полояровым и о чем-то все хихикали да перешептывались между собою. Немало утешал их дохленький Анцыфров, который все время старался корчить умильные гримасы, так, чтобы это вышло посмешнее, и представлялся усердно молящимся человеком: он то охал и вздыхал, то потрясал головою, то бил себя кулаками в грудь, то простирался ниц и вообще желал щегольнуть перед соседними гимназистами и барышнями своим независимым отношением к делу религии и церковной службы. Поэтому, проделывая все свои штуки, он после каждого пассажика искал себе глазами по сторонам одобрительных, поощряющих взглядов, и в таковых недостатка не было.

Полояров тоже ощутил в себе некоторое присутствие веселого настроения и все задумывал свечку соседки своей Лубянской, а та поминутно ее зажигала и, наконец, в отместку

стала задувать и его свечку. Вообще, в этой группе то и дело раздавалось смешливое фырканье и довольно громкие, бесцеремонные разговоры. Несколько впереди их стоял частный пристав, катавшийся все время мимо церкви на своих вяточках и теперь нашедший нужным появиться в храм – «на случай могущих произойти беспорядков». У дверей торчали три-четыре полицейских солдата и помощник пристава, которые вошли сюда вместе со своим принципалом.

Частный уже неоднократно оборачивал взоры на хихикавшую группу, с выражением внушительной строгости, но его юпитеровские взгляды возбуждали еще более веселость компании. А эта веселость поддерживалась немало также и тем обстоятельством, что несколько школьников сбрызгивали капли талого воска на спину не догадывающегося об этом блюстителя порядка.

– Эх, господа гимназисты стоят-то позади его, – сказал Полояров тихо, но так, что близ стоявшие мальчики очень хорошо могли его слышать. – Что бы догадаться кому – стать бы эдак на коленки да словно бы невзначай и поджечь пальтишко, – вот бы комедия вышла!

Такая мысль не могла не прийти по вкусу гимназистам, и потому исполнение ее нимало не замедлилось. Один шустрый мальчуган пробрался как раз к частному, стал совсем близко его и – точь-в-точь по рецепту Полоярова – опустился с земным поклоном на колени, приблизил свечу свою к краю форменного пальто пристава. Толстый драп тотчас же задымился и распространил вокруг себя запах смрадной гари.

Частный озабоченно и недоумело поднял голову и, внюхиваясь, поводит впереди себя носом. Гимназисты фыркали в кулак, а компания Полоярова корчила серьезные мины и кусала губы, чтобы вконец не расхохотаться.

Вдруг подоженный частный обернулся и поймал школьника на месте: тотчас же он его цап за руку и кивнул своему помощнику. Но так как помощник не замечал начальничьего кивка, то частный самолично повел мальчугана из церкви.

Перетрусивший гимназист побледнел и упираясь забормотал какие-то извинения.

Двое из учителей, вместе с товарищами мальчугана, да кое с кем из публики засуетились.

– Господа!.. господа! – захопотал и забегал маленький Анцыфров. – Полиция... полиция делает беспорядки... полиция первая, которая нарушает!.. Это наконец черт знает что!.. Этого нельзя позволить... Это самоуправство... Это возмутительно!..

В церкви поднялось заметное движение. Священник несколько раз оборачивался на публику, но тем не менее продолжал службу. Начинаясь уже некоторый скандал. Полояров стоял в стороне и с миной, которая красноречиво выражала все его великое, душевное негодование на полицейское самоуправство, молча и не двигаясь с места, наблюдал всю эту сцену – только рука его энергичнее сжимала суковатую палицу.

– Полояров!.. Полояров! – шептала Лубянская, дергая за рукав своего соседа. – Послушайте, ведь ему, пожалуй, плохо будет, – надо заступиться.

– Заступятся! – равнодушно, но с уверенностью ответил Ардальон Михайлович.

– Пойдемте вместе... все пойдемте... отнимемте его!

– Отнимут и без нас.

– Но смотрите: его уже взяли полицейские... его уведут!

Действительно, двое городских, поспешившие наконец на призыв частного, подхватили мальчугана за руки и всем своим наличным полицейским составом повели его вон из церкви, несмотря на осаждавшую их публику. Значительная кучка этой публики пошла вместе с ними считаться на воздух с частным приставом и выручать пойманного школьника.

– Полояров, подите и вы! Надо, чтобы вы заступились, – приставала меж тем Лубянская.

– Я-то? – отозвался Ардальон с тою снисходительною усмешкою, какую взрослые улыбаются маленьким детям. – Вы, Лубянская, говорю я вам, вечно одни только глупости болтаете! Ну черта ли я заступлюсь за него, коли там и без меня довольно! Мой голос пригодится еще сегодня же для более серьезного и полезного дела – сами знаете; так черта ли мне в пустяки путаться!

– Но что же теперь будет с ним, с бедненьким?

– Что?.. А ничего больше, что выпорют маленько, да и вся недолга!

– Но ведь это ужасно!

– Чего-с ужасно? Порка-то? Ничего! Это ихнему брату даже полезно иногда бывает. Нас ведь тоже посекали, бывало, – это ничего!.. Оно, знаете ли, эдакое спартанское воспитание, пожалуй, и не вредит: для будущего годится, потому – мальчишка после этого, гляди, озлобится больше, а это хорошо – злоба-то!

– Но ведь может быть и хуже: его могут исключить из гимназии.

– Ну и исключат – так что же? Эко горе!.. Коли есть башка на плечах, то и без гимназии пробьет себе путь, а нет башки – туда и дорога!

Между тем двое учителей да кое-кто из публики частью угрозами, частью просьбами и убеждениями успели-таки отравить мальчугана у полиции и с торжеством привели его обратно в церковь.

Движение, возбужденное всем этим происшествием, затихло, угомонилось, и присутствующие довольно благообразно достояли до конца панихиды. Многие явились в эту церковь с чистым, сердечным желанием помянуть убиенных, и между ними были Устинов с Хвалынцевым, да та молодая девушка со старушкой, которые стояли рядом с ними. Многие пришли так себе, ни для чего, лишь бы поболтаться где-нибудь от безделья, подобно тому, как они идут в маскарад, или останавливаются поглазеть перед любой уличной сценой; многие прискакали для заявления модного либерализма; но чуть ли не большая часть пожаловала сюда с целями совсем посторонними, ради одной демонстрации, которую Полояров с Анцыфровым почитали в настоящих обстоятельствах делом самой первой необходимости.

Внимание молодой соседки Хвалынцева было слишком исключительно и серьезно приковано к церковной службе, так что она мало обратила его на скандальчик, происшедший по поводу подоженного пальто частного пристава.

Между тем пропели вечную память. Священник удалился в алтарь разоблачаться, а к соседке Хвалынцева, самым галантным образом, вдруг подлетел прелестный Анатолий де-Воляй и развязно раскланялся.

– Как, и вы тоже здесь? – подняла на него девушка свои непритворно изумленные взоры.

– А почему же бы нет? – отчасти самодовольно порисовался Анатолий.

– Да что вам здесь делать, *monsieur de-Воляй*.

– *Mais, mademoiselle... mes simpaties... mes convictions*²⁷, – замялся чуточку правовед.

– *Et monsieur a aussi des convictions?*²⁸ – слегка улыбнулась девушка.

– Я человек своего поколения, – пожал плечами Анатолий, несколько сконфузясь от столь откровенного вопроса.

– А *monsieur Шписс!*.. ведь вы с ним, что называется, *les insèparables!*²⁹ Его тоже привлекли сюда симпатии и убеждения? – продолжала она все с той же легкой улыбкой, замечая, что ее вопросы начинают коробить прелестного правоведа.

– Шписс – сам по себе! – процедил тот сквозь зубы.

²⁷ Но, мадемуазель... мои симпатии... мои убеждения (фр.).

²⁸ И у месье тоже есть убеждения? (фр.)

²⁹ Неразлучные друзья (фр.).

- По своей особой части, значит.
- То есть, как это по особой?.. Я знаю Шписса за порядочного человека, – вступился де-Воляй за своего приятеля.
- Oh, oui! un homme parfaitement comme il faut! ³⁰ Я в этом никогда не сомневалась, – подтвердила девушка. – Ну, а на обеде вы будете сегодня?
- Человеку сродно питать себя – заботиться о стомах, так сказать, – попытался Анатоль вильнуть в сторону.
- Нет, я спрашиваю про клуб – на обеде в клубе?
- Буду, – нехотя отвечал он, свернув глаза куда-то в пространство.
- И тоже par la conviction? ³¹ – прищурилась, улыбнулась девушка.
- Н-нет, далеко не так... по... по... обязанности... ma position ³²... это, как хотите, обязывает... Не могу же я! – неловко оправдывался вконец сконфуженный Анатоль, явно ища случая, как бы поскорее удрать отсюда, и проклиная себя внутренне за то, что дернула же его нелегкая подойти «к этой пьавке». – Mais... cependant il est temps de partir... Bonjour, mademoiselle! Je vous salue, madame! ³³ – торопливо откланялся он девушке и старушке и, спешными шажками, поскорей удрал вон из церкви, кивнув за собою по пути и черненькому Шписсу.
- Однако, высекли же вы его! – обратился к девушке Устинов.
- Ничего, тем вкуснее пообедают, – отвечала она и, протянув учителю свою маленькую изящную ручку, направилась к выходу.
- Кто это? – почтительным полупшепотом спросил вслед ей Хвалынцев.
- Татьяна Николаевна Стрешнева, а старушка – тетка ее, – пояснил Устинов.
- Какое у нее славное лицо! – как бы про себя заметил студент, не отрывая глаз от стройной фигурки удалявшейся девушки.
- Одно слово: хороший человек она – вот что я скажу тебе, мой ангел! – заключил Устинов, и приятели тоже удалились.

* * *

На паперти, волнуясь до известной степени, стояла довольно значительная кучка публики, посреди которой, опершись на суковатую палицу, возвышалась фигура Полоярова. Пальто его было распахнуто и широко раскрывало на груди красную рубашку, шляпа надвинута на глаза, и вся физиономия, вся поза Ардальона выражала грозную решимость гражданского мужества.

Плюгавенький Анцыфров шнырял туда и сюда, протискиваясь между локтями и боками собравшейся публики, и все убеждал не расходиться.

Частного пристава уже не было. Он еще раньше поскакал к полицмейстеру.

Полояров выжидал минуту, когда и помощник отвернулся куда-то в сторону, оставя паперть в ведении только трех городских.

– Зачем здесь полиция?! Долой полицию! – возвысил голос Ардальон, грозно стукнув палицей о каменный помост паперти. – Долой сбиров! к черту алгвазилов!

– Долой!.. долой полицию! к черту! Вон! – довольно дружно подхватили в кучке, но городские продолжали себе стоять как ни в чем не бывало, словно бы и не понимая, что эти

³⁰ О, да! Абсолютно порядочный человек (фр.).

³¹ По убеждению (фр.).

³² Мое положение (фр.).

³³ Но... однако, пора уходить... Прощайте, мадемуазель! Мое почтение, мадам! (фр.)

возгласы, в некотором роде, до них касаются, и только время от времени флегматично замечали близстоявшим, чтобы те расходились – «потому – нэможно! начальство нэ вельть!».

– Господа! – снова возвысил голос Полояров. – Господа! Я обращаюсь ко всем вам, ко всем честным людям, у которых наше рабство не вышибло еще совести! Выслушайте меня, господа!.. Немецко-татарский деспотизм петербургского царизма дошел до тахитум своего давления. Дальше уже терпеть нельзя... невозможно – или надо задохнуться!

– Молодец! Не трусит!.. Вот это так! По-нашему! Открыто, гласно! – одобрительно отозвались ему в толпе слушателей.

Полояров с самодовольною гордостью обвел всех глазами и подбодрился еще более.

– Я говорю, господа, о факте... о тысяче вопиющих фактов, – начал было он снова, как вдруг, в эту самую минуту, лихо подкатила к паперти полицмейстерская пара впристяжку – и с пролетки спрыгнул экс-гусар Гнут вместе с жандармским адъютантом. Гремя по ступенькам своими саблями, спешно взбежали они на паперть и... красноречие Полоярова вдруг куда-то испарилось. Сам Полояров даже как будто стал немножко поменее ростом, и пальто его тоже как-то вдруг само собою застегнулось, сокрыв под собою красный кумач рубашки.

– Господа! покорнейше прошу расходиться! Этого нельзя-с! Это беспорядок! – резко авторитетным тоном закричал полицмейстер, направляясь прямо в толпу.

В кучке загалдели, задвигались, загомонились... Кто-то закричал по-петушиному, несколько человек свистнули и зашикали, многие рассмеялись, но в этом хохоте слышна была выделанная натяжка, нечто неискреннее и весьма принужденное.

Полицмейстер еще резче и строже повторил свой внушительный возглас. Значительная часть публики нерешительно и медленно стала расходиться.

– Господа!.. Не поддавайтесь!.. Не поддавайтесь... – то там, то здесь, позади других, подуськивал да подшептывал Анцыфров, стараясь, однако же, не быть замеченным.

В это время совершенно случайно проходил по улице взвод Инфляндманландского пехотного полка. Но стоявшей кучке не была известна эта случайность. Кто-то крикнул «войско идет!» – и это слово как-то жутко подействовало на многих: вскинули глаза вдоль улицы и, действительно, увидели несколько штыков. Анцыфров внимательно стал отыскивать глазами своего патрона и друга, но друг его, Полояров, неизвестно куда успел уже исчезнуть.

Через несколько минут церковная паперть, без всяких особых понуждений, уже очистилась, и полицмейстер с адъютантами укатили.

VIII

Генеральное кормление с музыкой и проч.

Когда публика шла из церкви, к подъезду клуба подкатывали первые экипажи. Съезд только что начинался. Костюмированный швейцар, в чулках и треуголке, надетой по-генеральски, отдавал входящим честь своей булавою. Лестница была покрыта парадным красным сукном и уставлена цветами. Прислуга оканчивала последние приготовления. Метродотель Кирилла, гладко выбритый и пузатый, сиял самодовольной гордостью и чувством сознания собственной важности и достоинства. Он индийским петухом прохаживался по всем комнатам в своем белом жилете «при цепочке», в белом галстуке и в белых нитяных перчатках, а два лакея следовали за ним сзади и на раскаленную плитку поливали амбре, дабы распространить повсюду подобающее благоухание. Дежурный старшина и распорядители обеда были все налицо и важно совещались около стола с *hors-d'oeuvres*³⁴. Музыканты на одной стороне хор настраивали свои инструменты, а в газетной – советник губернского правления г. Богоявисенский громко читал по бумажке свой будущий спич, который через час он должен будет произнести наизусть, по внезапному, так сказать, вдохновению и от полноты сердца. Теперь же наедине советник делал «последнюю репетичку». Хоры, противоположные той стороне, где поместились музыканты, начали понемногу наполняться дамами, между которыми были исключительно сливки да сметана славнобубенского *mond'a*³⁵. Все взоры, надежды и ожидания славнобубенских матрон, сильфид и фей, и Диан, и весталок стремились к нему, к ожидаемому гостю, к интересному и блистательному герою этого праздника. Но пока – матроны и весталки созерцали только большие столы, составленные покоем (П), на которых сверкал граненый хрусталь, зеленели ветки цветущих камелий и возвышались серебряные вазы, пирамидки да корзинки с конфетами и фруктами, в ожидании коих некоторые лакомые матроны нарочно понадевали платья с карманами более глубокими.

Но вот зала все более и более наполняется гостями. С вышины хор движущиеся фракки кажутся чем-то вроде ползающих мух. Там и сям сверкает золото или серебро на густых и не густых эполетах, эффектно мелькают регалии – от смеющегося Станиславчика в петличке или медальки до какой-нибудь красавицы-звезды, целомудренно прячущейся за борт черного фрака. То и дело идут поклоны, рукожатия, причем дамы на хорах очень удобно могут наблюдать, сквозь свои лорнеты, прически и спины мужей и знакомых. Вот прическа с украшениями, вот гладкая, без украшений, вот благонамеренная, а там либерально взъерошенная; вот показалась и элегантно-парикмахерская куафюра прелестного Анатоля; и курчавенький Шписс мотает головкой; а вот блестят и лоснятся гладко вымытые лысины и плешины: одна сверкает, как бильярдный шар, другая молодой репе, а третья ноздреватому гречишному блину уподобляются. По зале идет какое-то сдержанное жужжанье разговоров, и по этому жужжанью видно, что все чего-то ожидают и все очень голодны.

Вот по гостям пробежали некий гул и движение: его превосходительство Непомук Анастасьевич прибыть изволил. Все бросаются к его превосходительству. Спины сгибаются, прически и лысины преклоняются, улыбки украшают уста, и некая светящаяся влага теплится во взорах. Его превосходительство любезно протягивает руку толстому откупщику, препрославленному по всей губернии своим либерализмом и патриотизмом, затем тучному градскому главе и вице-губернатору, затем советникам, председателям, разным товарищам и

³⁴ Закуски (фр.).

³⁵ Светского общества (фр.).

господам дворянам, однако же не всем без исключения. Остальной мир он обводит глазами и кланяется общим поклоном.

Новое движение между присутствующими; губернский предводитель князь Кейкулатов появился в зале. Непомук «наилюбезнейше и наипочтительнейше» приветствует князя; в свою очередь князь точно тем же платит Непомуку, – и оба довольны друг другом, и оба в душе несколько поругивают друг друга; тем не менее взаимное удовольствие написано на их лицах.

Утробы все более и более ощущают своего рода желудочную *Sehnsucht*³⁶ по вкусным яствам и питьям, которые предлежат им вскоре. Непомук взглядывает на часы. Кажись, все уже в сборе? Дело стало за одним только дорогим гостем – «Скоро ли же приедет! Хоть червячка заморить бы пока!» – начинают уже роптать почтенные гости, – но... неловко, неприлично и даже непочтительно морить червяка до появления светила. Однако некоторые не выдержали и сбегали в буфет, где по секрету добыли-таки себе «по рюмчонке».

Но вот сугубо зашевелились и приободрились гости, иные крикнули в руку, иные бакенбарды пригладили, иные жилетку подергали книзу. Желанная минута наступила. Светило еще только подкатывало к клубу, как особый вестовой, роль которого, ради пущего парада, возложена была на квартального надзирателя, оповестил об этом событии. Дежурный старшина махнул на хоры белым платком, от которого распространился крепкий запах пачули, – и оркестр торжественно грянул величественный полонез.

Блистательный барон Икс-фон-Саксен вошел в залу под аккомпанемент этой музыки. Он опоздал ровно настолько, насколько требовали того приличие и, вместе с тем, выдержка собственного достоинства. Толпа гостей, с Непомуком и Кейкулатовым во главе, встретила его почти у самых дверей. Спины, лысины и прически тотчас же изобразили самое почтительное согбение, лики осветились сугубо радостными улыбками. Шписс и де-Воляй протискались вперед и держались поближе к кучке самых крупных губернских тузов, которым барон протягивал полную руку, и старались все время держаться на виду. Но... увы! барон все как-то не замечал их. Физиономии двух достойных друзей начало уже кисло коробить и передергивать от опасения: а ну, как он вдруг, при всех-то, нам и не подаст руки? Самая сладостная улыбка неоднократно уже появлялась на их лицах, спины и головы неоднократно уже пытались сотворить почтительное согбение, и сами обладатели этих голов из сил выбились улучшить подходящую минутку, чтобы подвернуться под баронские взоры. Но взгляд барона совершенно равнодушно и мимолетно скользил по их физиономиям, словно бы по незнакомым, – и физиономии приятелей снова начинало передергивать: самолюбие их уязвлялось, – они ведь всему городу успели протрубить уши, что барон с ними знаком чуть не приятельски. Но, наконец, подвернулись-таки под глаза: фон-Саксен заметил их четвертый поклон и удостоил обоих легкого полупожатия. Лики инсепараблей просияли, самолюбие было спасено.

Не станем изображать читателю, как гости истребляли закуски, как приналегли они на желудочные, тминные, листовки и померанцевки, как задвигались и загремели стулья, с какими плотоядными улыбками расселись все на подобающее каждому место, как величественно священнодействовал у особого стола клубный метрдотель Кирилла, направляя во все концы столов ряды лакеев с многоразличными яствами, за коими в порядке следовали многоразличные пития, – скажем только одно, что барон сидел на самом почетном месте, между Непомуком и князем Кейкулатовым, и что сам Кирилла никому не пожелал уступить честь прислуживать этим трем лицам: редкий и высший знак почтения со стороны амбициозного Кирилла. Гости кушали и пили, пили и кушали, и снова кушали, и снова пили; все сие свершалось в достолюбом порядке, благочинно и вполне добросовестно, как и подо-

³⁶ Жажда, тоска по чему-либо (нем.).

бают благонамеренным гражданам, которые еще с утра специально воспитывали желудки к восприятию подобного обеда.

Был уже пир в полупире и хмель в полухмеле, как говорится в старых сказках. Губернатор и предводитель успели уже провозгласить все официальные тосты, на которые вся зала ответствовала «ура», а музыка громогласными тушами. Но вот поднялся с места советник губернского правления, г. Богоявисенский, обвел все общество маслено-заискивающими взорами, как бы прося себе снисходительного внимания, и наконец остановил эти взоры на блистательном госте, с какою-то сладостно-восторженной почтительностью. Он помещался как раз насупротив барона. Все общество встало, замолкло и наострило уши.

– Милостивые государи, – начал советник слегка дрогнувшим голосом, – в настоящее время, когда...

– И так далее! – подшепнул, на дальнем конце стола, одному из своих соседей привилегированный губернский остряк и философ, тучно упитанный и праздно проживающий Подхалютин. Известно ведь, еще по традициям былого времени, что каждый губернский город необходимо должен иметь своего собственного, местного остряка и философа, который уж так полагается тут словно бы по штату.

– В настоящее время, – продолжал меж тем оратор-советник, – когда Россия, в виду изумленной Европы, столь быстро стремится по пути прогресса, общественного развития и всестороннего гражданского преуспевания, по пути равенства личных прав и как индивидуальной, так и социальной свободы; когда каждый из нас, милостивые государи, чувствует себя живым атомом этого громадного тела, этой великой машины прогресса и цивилизации, – что необходимо... я хочу сказать – неизбежно должно соединять нас здесь, за этой дружественной трапезой, в одну братскую, любящуюся семью, – какое чувство, какая мысль должны руководить нами?

– Бр-р-р-рава! – вдруг одиноко рывкнул откуда-то подгулявший недоросль из богатых дворян.

Полицмейстер Гнут, изобразив на лице своем суровую строгость, смешанную с ужасом, и тихонько отставив стул, на осторожных цыпочках предупредительно направился в ту сторону, откуда раздавалась эта неуместная «бравва».

– Одно чувство, одна мысль, милостивые государи! – витийствовал меж тем оратор. – Любовь и польза, польза и труд и надежда на радостное созерцание будущих плодов его. Любовь к ближним и к общественному благу, труд на пользу общую – это-то и есть совокупляющее нас чувство и единящая нас мысль.

– Так! так!.. Bravo!.. Превосходно!.. Слушайте, слушайте! – одобрительно пробежало из уст в уста по толпе состояльников – и несколько смущенная доселе физиономия оратора облегчительно прояснилась.

– Мы знаем друг друга, милостивые государи! – снова полился поток обеденного спича. – Да! мы знаем себя; мы все воодушевлены лучшими стремлениями нашего прогрессивного времени. Мы пробудились от сна и бодро шествуем ныне вперед и вперед!

– Bravo!.. Бр-р-р-рава!.. Тсс!.. слушайте, слушайте!

– Будем же стремиться к тому, чтобы поддерживать друг друга, каждый индивидуально и все вообще, на пути служения нашему благу общественной и интересам гражданственным! Будем стремиться ко всестороннему развитию, будем ценить и по достоинству награждать труды и усердие каждого, и да присоединятся к ликованию нашему наши меньшие братья, наш добрый, русский, православный мужичок!

Глаза оратора, при сих последних словах, умаслились некоею сентиментальною, сахаристою влагою, а в том конце стола, где присутствовал остряк Подхалютин, как будто послышалось одно многозначительное, кричащее: «гм!»

– Но, милостивые государи, – выпрямился и от переизбытка чувства глубоко вздохнул оратор, – для того, чтобы мы могли бодро и стройно, подобно музыкальному чуду нашего века, называемому «органом», шествовать по пути развития, цивилизации и прогресса, что прежде всего необходимо нам, вопрошу я вас? Необходим нам неуклонный и бдительный надзор просвещенного начальства, необходим нам строгий и твердый порядок, дабы каждый из нас мог, так сказать, мирно сидеть под своею смоковницей, в вертограде той деятельности, к коей призван, и в лоне семейства своего вкушать скромные, но сладкие плоды своей гражданской деятельности. Без порядка орган лишится своей стройности. Нарушители мирного течения реки прогресса могут вредоносно воздействовать на все наши жизненные отправления, лишит нас дружества и братства, ввергнуть нас во все ужасы Франции конца XVIII столетия, подвергнуть опасности не только лоно семейств и домашних очагов наших, но и всю машину общественного строя, но и самую жизнь нашу, столь необходимую ныне для пользы всеобщего преуспеяния, и чрез то – страшно вымолвить! – рушить внезапно величественное здание цивилизации!.. Итак, милостивые государи, – торжественно подняв бокал и обтерев на лбу обильный и крупный пот, заключил оратор, – скажем наше доброе русское спасибо тому доблестному мужу, который мощною рукою сумеет водворить порядок, тишину и спокойствие в нашей взволнованной местности, коей почти еще только вчера угрожала столь страшная опасность! Я торжественно подымаю мой признательный бокал и провозглашаю задушевный тост во здравие его превосходительства барона Адольфа Христиановича!

– Бр-р-раво-о!.. Ур-ра-а!.. Ура-а! Туш! туш! – загремело по зале. Двиганье стульев, крики, учащенное звяканье ножей и вилок о края тарелок и чокание бокалов смешались с громогласным треском труб и литавр. Некоторые чувствительные гости источали слезы умиления от усердного чоканья, шампанское выплескивалось за края бокалов, и многие фраки и жилеты были уже обильно облиты нектаром вдовы Клико. Упорный недоросль, не внимая увещаниям лихого Гнута, бил кулаком по столу и белугой ревел свое энергическое «бр-р-рава! Удружил!» и к этим двум восклицаниям пьяненько прибавлял еще: «бал-дар-рю! балдарю, советник!.. балдарю!..» Толпа состояльников наперерыв стремилась удостоиться чести и удовольствия чокнуться с блистательным бароном, который горячо потрясал чрез стол руку красноречивого спикера, не упустившего, при виде протянутой к нему баронской длани, предварительно обтереть салфеткой свою собственную, чересчур уже запотелую (от усердия) руку. Непомук от полноты душевных чувств ничего не вымолвил, но, чокнувшись и тоже пожав руку Саксена, только просопел очень выразительно. Князь Кейкулатов начал было в эдаком роде: «позвольте, мол, барон, и мне, как представителю, от лица благородного дворянства», но запнулся, смешался, улыбнулся и завершил неожиданным словом: «чок-немтесь!» Откупщик и патриот Верхохлебов неистово «биял» себя в грудь и восклицал: «Отчизна!.. Сыны! братцы! благодетели!.. Я ваш и вы мои!.. П-цалуемся!» Градской глава начинал уже придумывать, какое с него теперь «пожертвование» взлупят и какую медаль за это пожалуют, – «а что взлупят, так уж это безотменно». Много благодарностей, рукопожатий, чоканья и лобызаний досталось и на долю оратора. Один из первых подлетел к нему умиленный Болеслав Казимирович Пшецыньский.

– Благодарю!.. благодарю! – напирал он на советника с своим польским акцентом. – Особенно за то, что не забыли замолвить словечко о награждении за труды службы и усердие. Это, знаете, и генералу должно понравиться. Прекрасная речь! Высокая речь!.. И чувство, и стиль, и мысль, и все эдакое!.. Вы, пожалуйста, дайте мне ее списать для себя: в назидание будущим детям, потомкам моим оставлю!.. Благодарю! благодарю вам!

И полковник с чувством обнял спикера и облобызал его дважды, причем мокрые от вина полковничьи усы оставили свой влажный след на гладко выбритых, лоснящихся щеках советника.

Засим поднялся некоторый, впрочем еще довольно скромный и приличный, кавардак. Бокалы то и дело наливались и дополнялись. Губернатор снова предложил тост за дорогого гостя, а дорогой гость ответил тостом за здоровье почтенного, многоуважаемого, достойного и всеми любимого начальника губернии; начальник губернии – за здоровье князя Кейкулатова, князь Кейкулатов – за здоровье начальника губернии и опять-таки дорогого гостя; дорогой гость за князя Кейкулатова; Пшецыньский за Корытникова, Корытников за Пшецыньского; откупщик за голову, голова за откупщика; вице-губернатор за советников, советники за вице-губернатора; Шписс выпил за Анатоля, Анатоля за Шписса и потом каждый сам за себя. На конце стола какая-то кучка приятелей испивала за здоровье недоросля. Пили и многие другие здоровья: и за присутствующих, и за отсутствующих, и за прекрасный пол славнобубенский, и за того, кто любит кого, и за гражданственное преуспеяние, и за развитие кого-то и чего-то, и за прогресс нашего времени, и за цивилизацию, и наконец даже за здоровье клубного метрдотеля Кириллы. Словом, тут было широкое и раздольное поле для всяческих излияний и прочего благодушества, – душа выходила нараспашку. В одном конце стола кто-то предложил уж было составить и послать телеграмму. Мысль одобрена, но в исполнении своем остановилась за тем лишь, что решительно никто не мог придумать, кому бы, в самом деле, и зачем, и о чем именно послать телеграмму? Другие предлагали изобразить все это торжество достойным образом во всех столичных газетах, а начать с губернских ведомостей, – и эта мысль тоже понравилась. Взоры многих уже начали с заимствующей надеждой ласково обращаться на красноречивого оратора. Третьи заявляли, что хорошо бы было адрес благодарственный или хоть признательный представить барону и основать в честь его какую-нибудь стипендию. Насчет стипендии дело пошло зажимисто и разыгралось более как-то в молчанку, потому что идет оно скорее по части именитого купечества да на счет откупщика и головы градского; а вот мысль об адресе признана весьма не дурною, и тем паче, что адрес – дело вполне современное и для кармана не убыточное. Анатоля де Воляй соблазнительно подбивал уже добрую компанию отправиться с ним к какой-то Альбертинке, которая, по его уверениям, была просто «смак-женщина».

Наконец все власти, важности и почтенности встали из-за стола, и дело перешло в гостиные, по части кофе, чаю, сигар и ликеров. Но многие из публики остались еще за столом допивать шампанское, причем кучка около недоросля все увеличивалась. На хоры понесли корзинки и горки фруктов с конфетами да мороженое угощать матрон и весталок славнобубенских. Туда же направился своєю ленивою, перевалистою походкою и губернский острослов Подхалютин. Он любил «поврать с бабами», и это было целью его экспедиции на хоры.

– Пелагея Ивановна, – обратился он соннику к одной отменно скупой, преклонных лет матроне, которая торопливо, но усердно старалась нахватать себе возможно более дарового угощения, – а, Пелагея Ивановна! Если у вас – сохрани Господи – карманы малы окажутся, так вы сделайте одолжение, без церемонии, все, что не влезет, мне препоручите: у меня просторно; а я доставлю вам всецело.

Матрона побагровела от злости и прошипела что-то невнятное, а острослов и философ остался весьма доволен тем, что успел взбесить матрону.

– Скажите, пожалуйста, – обратилась, однако, к нему матрона, успевшая уже через минуту оправиться и одуматься, – какими это судьбами вы-то – ведь вы у нас такой либерал, демократ, прогрессист – и вдруг на этом обеде!.. Ведь вы за мужиков всегда, на словах-то.

– А что ж? Я, сударыня, тризну, сиречь поминки справляю, – поклонился Подхалютин, – ведь я – сами извольте знать – по философской части отчислен, – а это у нас все равно, что по запасным войскам, – ну так значит, и взираю на это дело с моей философской точки зрения.

– Какая ж это точка? – захихикали некоторые дамы, ожидая, что острослов, вероятно, отрежет им что-нибудь скабрезно-пикантное, – а славнобубенские дамы, надо заметить, вообще питают некоторую слабость к скабрезно-пикантному.

– Философская точка, милостивые государыни, – начал пояснять присяжный остряк, – это самая простая и естественная, а потому самая верная, настоящая точка. Вы думаете, что мы и взаправду чувствуем этого благородного барона из остзейской стороны? Вы полагаете, что все эти спичи и прочее суть заявления нашей симпатии и признательности? Если вы мыслите так, то плохо же вы, сударыни, знаете ваших мужей и братьев, скажу я вам! Все эти спичи и симпатии – дело совсем постороннее: так себе сбоку припека. Ничего этого у нас, в сущности, нет и не было, а вся штука в том, что мы все, во-первых, добрые, очень добрые, и сердце у нас какое-то мягкое, слюноточивое; а второе дело, что все мы больно уж на брюхо горазды.

– Фи! какие мерзости!.. *Quelles phrases la^ches, que vous nous exprimez!*³⁷ – с притворным жеманством запищали некоторые матроны и сильфиды; но острослов, нимало не смутясь, продолжал в том же роде. Он хорошо знал свою аудиторию.

– Да! именно на брюхо больно горазды. Все эти спичи по части прогресса, развития там симпатий, заявлений и прочего – все это то же самое, что бешемель при телятине, то есть нечто, к самой сути дела, пожалуй, вовсе и не идущее. Это мы только, что называется, черту кочергу ставим, мимоходом отдаем дань Ваалу нашего времени, а главная-то суть у нас всегда была, и есть, и будет неизменно все одна и та же: это – жратва! да, жратва, милостивые государыни! Мы, благочестивые россияне, при всяком удобном случае жрем: на родинах – жрем, на поминках – жрем, на крестинах чавкаем, на именинах лопаем, на свадьбах трескаем и рады-радехоньки каждому случаю, коли он подает нам самый маленький повод собраться вкупе и пожрать. Так точно и нынче: остзейский барон и чувства признательности за будущие его подвиги – это только случайный предлог к жратве, то есть та же бешемель. Мы и чувства наши, и самого-то барона, пожалуй, завтра же забудем, а вот стерлядей аршинных да олонецких рябчиков долго вспоминать станем, до первой новой... ну, хоть экзекуции или еще какой-нибудь там эмансипации, которые обе безразлично тоже будут удобным предлогом. Потому-то вот я и присутствую на этом обеде, коли вы знать хотите, да и все-то мы здесь только поэтому – ей-Богу!

Изложив таким образом свое объяснение, острослов тем более охотно перешел в область скабрезно-пикантного, что дамы начали уж находить его чересчур скучным, – и через минуту на хорах раздавалось уже веселое хихиканье.

³⁷ Вот эти трусливые фразы, которые вы нам говорите! (фр.).

IX

Cegła wielkiego budowania ³⁸

К девяти часам вечера большинство почтеннейшей публики уже разъехалось из клуба – кто в театр, кто на боковую, кто к разным своим подругам с левой стороны. Остались только те, которые давно уже выступили бойцами на зеленом поле.

Болеслав Казимирович Пшецыньский вышел вместе с лихим полицмейстером Гнутом.

– Махнем-ка, полковник, в театр! – предложил отчаянный экс-гусар. – Нынче Шмитгов в водевильчике, то есть – я вам скажу – прелесть, что такое!.. Ножки, ножки эти – канальство!

– Н-нет, знаете... голова что-то болит, – поморщась, солидным тоном отклонился полковник. – Я лучше прокатиться немножко поеду.

И они расстались.

Полковник вскочил в свои крытые дрожки и приказал кучеру ехать совсем не в ту сторону, куда, в сущности, сам намеревался отправиться. Околесив две-три улицы, он указал наконец вознице своему настоящий путь и вскоре подъехал к высокому забору, за которым в глубине двора ютился в палисаднике каменный одноэтажный домик, рядом с небольшим католическим костелом, построенным во вкусе тех quasi-греческих зданий, которыми было столь богато начало нашего столетия. Дворник растворил ворота, и полковничьи дрожки подкатили к крылечку небольшого домика. Ставни были плотно закрыты, но Болеслав Казимирович смело, привычною рукою, дернул за ручку звонка. Отворить ему дверь вышла со свечой в руке молодая, смазливая женщина, из породы тех, которых очень характерно называют «вкусными» и «сдобными».

– Пан ксендз дома? – спросил Пшецыньский, игриво и ласково кивнув ей головою.

– Дома, дома! уж давно ждет пана полковника, – радушно ответила сдобная женщина, с удовольствием встретив гостя приветливой улыбкой.

Полковник сбросил шинель и вступил в покои священника.

Приемная комната ксендза-пробоца более чем скромно была меблирована простою дубовою мебелью, без мягких сидений, без малейшего намека на какой бы то ни было комфорт. Единственным украшением ее было простое, даже бедное Распятие над окошком.

Навстречу Пшецыньскому вышел неслышную, дробною походочкою, потупив в землю глаза, плотно-кругленький мужчина лет сорока, в длинной черной сутане. Широкое лицо его светилось безмятежно довольной улыбкой. Видно было, что человек этот живет покойно, ест вкусно, пьет умеренно, но хорошо, спит сладко и все житейские отправления свои совершает в надлежащем порядке. «Всегда доволен сам собой, своим обедом и... женой», – сказали бы мы, если б католические ксендзы не были обречены на безбрачие.

– Пану Болеславу! – поклонился он кротко, но вполне приятельски, – и гость вместе с хозяином, взяв друг друга обеими руками под локти, облобызались дважды.

– Ну, пойдем до кабинета: там теплее и покойнее... потолкуем... Я давно уж с нетерпением ждал пана, – радушно говорил ксендз, предупредительно пропуская Пшецыньского в смежную комнату. – Сядай, муй коханы, сядай на ту фотелю... ближе к камину!.. Ну, то так ладне!.. Чем же мне подчивать пана?

– Ну, уж ничего не могу – прямо с обеда! – отказался Пшецыньский.

– Э, нет, у нас так не водится! – расставил ксендз свои руки. – Не пей з блазнем, не пей з французом, не пей з родзоным ойцем, з коханкой не пей, а з ксендзем выпий – таков мой закон! Я дам пану добрую цыгару, а Зося подаст нам клубничного варенья и бутылочку

³⁸ Кирпич большого строительства (польск.).

венгржины, у меня ведь – сам знаешь, коханку, – заветные! От Фукера из Варшавы выписываю, – отказаться не можно!

Взгляд у пана ксендза был мягонький, тихенький, но немного как будто кошачий и в душу заползающий, и голос тоже был тихий, мягкий, немножко тягучий и отчасти сладкий. Говорил он словно бы гладил вас по шерстке бархатною кошачьею лапкою, так что приятное щекотанье на душе от его слов ощущалось. И вот пошел он распорядиться насчет дружеского угощения, а полковник снял и поставил в угол свою саблю, с подергиваньем поправился насчет шаровар, в силу старой кавалерийской привычки, расстегнул сюртук и в самой покойной позе погрузился в глубокое, мягкое кресло перед пылающим камином.

Этот уютный кабинет, или так называемый у ксендзов «лабораториум», был любимую комнату ксендза-пробоца Ладыслава Кунцевича. Мягкий ковер застилал крашенный пол, а зеленые рисованные гардины, кидая на все колорит мягкого полусвета, прикрывали большие окна, на которых помещались розы, олеандры, левкой и магнолии. Широкий письменный стол, освещаемый висячею лампою под молочным колпаком, был покрыт бумагами, книгами и множеством таких безделушек, которые можно встретить разве на столе очень красивой женщины или записного великосветского денди; но в этих безделушках ничто не оскорбляло вкуса и благопристойности, ничто не нарушало строгого порядка и своеобразной симметрии. Перед широкой оттоманкой расстилалась на полу роскошно выделанная медвежья шкура. По одной стене были протянуты полки с рядами книг, между которыми виднелись сочинения Севуа, известные высшею строгостью религиозных требований, несколько почтенных фолиантов и толстых томиков, переплетенных в желтовато-белую телячью шкуру, от которых веяло почтенной древностью. По другой стене висело большое Распятие из черного дерева, с фигурою Христа, очень изящно выточенной из слоновой кости, и несколько гравюр: там были портреты св. Казимира, покровителя Литвы, знаменитой довудцы графини Эмилии Плятер, графа Понятовского, в уланской шапке, геройски тонущего в Эльстере, Яна Собеского, освободителя Вены, молодецкато опершегося на свою «карабелю», св. иезуита Иосафата Кунцевича, софамильника пана Ладыслава, который почитал себя даже происходящим из одного с ним рода, и наконец прекрасный портрет Адама Мицкевича. На камине между фарфоровыми вазочками стояли две гипсовые фигурки, из которых одна изображала Джузеппе Гарибальди, а другая – Тадеуша Костюшку в чамарке и конфедератке. В глубине комнаты возвышался молитвенный аналой с высоким подколеником, для того, чтобы необременительно было стоять на коленях во время молитвы. На аналое помещались: бревиарий, два вазончика с букетами искусственных цветов, изящное мраморное изображение Мадонны и над нею металлическое маленькое Распятие. Несколько других картинок изображали все аллегорические да исторические сценки из истории Литвы и Польши, вроде любовных объятий Немана с Вилией, страдания каких-то католических святых и две богородицы: Остробрамскую и Ченстоховскую. Но замечательнее всего по художественной части в этой комнате являлись два портрета, вделанные, под стеклом, в золоченые рамки и висевшие прямо перед рабочим столом хозяина. На одном портрете очень рельефно вырисовывались энергические черты покойного императора Николая; другой изображал государя императора Александра II.

Вкусная Зося, все с той же игриво-приветливой улыбкой, принесла на подносе хрустальную вазочку с вареньем и темную бутылку, на поверхности которой являлись почтенные следы стародавнего пребывания в Фукеровских подвалах.

– Добрым людям добрую венгржину не подобает пить из простых стаканов, – докторально заметил пан ксендз, – а потому мы достанем две фамильные дедувки: еще Ржечь Посполиту помнят!

И он не без самодовольной гордости добыл из маленького шкафчика две серебряные стопки изящной старопольской работы.

– То еще моему деду, пану Богушу Кунцевичу, сам яснеосвецоны пан ксионже Адам Казимерж Чарторыйский на охоте в Пулавах презентовал на памёнтек, бо пан дед Богуш (тенчас еще млоды человек) добрже забил недзьведзя с едней карабелей! – с особенным уважением пояснил пан ксендз, поднося к пану Болеславу свои стопки, чтобы тот полюбовался на их отменную чеканку.

Пан ксендз, с приемами истого знатока и любителя, серьезно освидетельствовал поданную бутылку; неторопливо и аккуратно откупорил ее, обтер и обчистил салфеткой горлышко, с улыбкой истинного наслаждения, тихо прижмурив глаза, глубоко потянул в себя носом ее ароматный букет, затем стал тихо лить вино, любуясь на его чистую, золотистую струю, и, словно бы прислушиваясь к музыкальному шелесту и бульканью льющейся влаги, отхлебнул от края и подал стопку своему гостю. Потом с точно таким же наслаждением он наполнил другую для самого себя и, придвинув возможно ближе свое кресло, уселся как раз против Пшецыньского, затем, тихо дотронувшись обеими ладонями до его коленей и пытливо засматривая в его глаза, спросил каким-то нежно-ласковым, как бы расслабленным и в то же время таинственно-серьезным тоном:

– Ну, и цо ж, мой коханы?

– Ну, и ниц! – пожал плечами полковник.

– Як-то ниц?!.. Ведь стреляли?

– В Снежках стреляли, а в Пчелихе нет, и в Коршанах нет... Да это что! Этих глупых баранов даже и пулей не озлобишь! Крепки они очень, мой ксенже канонику!..

И Пшецыньский подробно и обстоятельно, час за часом, шаг за шагом, передал своему собеседнику всю историю пчелихинских и снежковских восстаний и укрощений. Ксендз слушал серьезно и внимательно, время от времени отхлебывая маленькими глотками из своей стопки. По временам выражение лица его принимало многозначительно-довольный вид, и он одобрительно поддакивал Пшецыньскому кивками. Когда же полковник окончил свой отчет, ксендз-пробош Кунцевич вздохнул как-то особенно легко, выразительно-крепко пожал руку гостю и с многодогольной улыбкой сказал ему:

– Терпение, терпение, муй коханы брацишку!.. Я доволен паном: пан действовал хорошо! Ойчизна неподлеглая, вольная, не забудет послуги паньскей!.. Каждое такое действие, как было в Снежках, это новый кирпич в фундамент велькего будованя!

И ксендз, воодушевленный заветною мыслью, встал с места и зашагал по комнате, отчасти взволнованною, но вечно неслышимую, беззвучною походкою.

– Терпение, говорю я, – продолжал он, потирая руки, – терпение, терпение!.. Это ничего, что это быдло кричало: «мы царские и кровь наша царская!» – важно то, что в них стреляли, что они видели убитых братьев, что они крови понюхали, – вот что важно! Такие моменты не должны проходить даром, – человеческая память не должна их забывать! И ты, муй коханы панку, придержался тут доброй политики: дело сделал, совет подал, а сам в стороне. Этих псов ведь только науськать надо, а уж грызть они пойдут сами! Кто таков в их глазах посланец? Правительство! Сегодня они кричат: «мы царские!» – завтра перестанут, лишь бы на нашу бедную долю доставалось побольше таких добрых посланцев! Нужды нет, что это быдло не будет с нами: нам его и не нужно; оно будет само по себе и само за себя; лишь бы поднялось одновременно с нами – и тогда дело наше выиграно! Мы разом дадим шах и мат! Они для нас дрова, которые мы сжигаем. Но... будем казаться пока братьями... Это нужно! Вот я покажу пану одну штуку! – продолжал ксендз, отперев свое бюро, в котором подавил незаметную пружину, раскрывшую потайной ящичек. – Вот я не далее как на днях еще, в полнейшее подтверждение наших собственных мыслей и планов, получил от бискупа с забраного края маленькую цидулу... я ведь писал туда. Тут и маппа ³⁹ приложена.

³⁹ План, ландкарта.

Эту маппу составил один из наивысших филиаров велькего будованя, пан грабя Скаржиньский. Пан, конечно, слыхал про пана грабега и знает, цо то есть за дроги человек!.. Вот что пишет бискуп:

«Недоразумения между хлопами и панами, вследствие царства тьмы и дьявола, должны усложняться, и уже сильно усложнились по всему забранему краю. Паны, как добрые обыватели, остаются в стороне, а дело идет через посессоров, экономов, арендаторов и в особенности через пакцяжей⁴⁰. При первых недоразумениях, и нам и им (разумею добрых панов), подобно Понтию Пилату, надлежит умыть руки и (политично для холопских глаз) стараться ввести в дело войско и власть наезда. Эмиссары делают свое дело и по корчмам пускают слухи, что московский царь, чрез своих катов и гицелей-желнержей, душит и панов, и хлопов вместе; что паны рады бы дать хлопам и волю, и землю, да Москва мешает: москали не хотят воли. Озлобление на ржонд московский, по сведениям нашим, сильно растет между хлопами, – Бог и свентый Казимерж помогают свентей справе. Пан грабя систематично наметил на маппе, от пункта до пункта, где, как и когда должны происходить воинские экскурции. Он строго и обдуманно расчел, что если в пункте А произошло столкновение между хлопами и быдлом наяздовым, то до каких географических пределов может и должен распространиться в народе слух и молва об этом столкновении. Тогда последовательно избирается новый пункт В, и так далее. Такие округа помечены на маппе особыми кружками, а направление молвы и слухов приблизительно определено в виде радиусов, расходящихся от известного центра особыми красными лучами и линиями. Эту маппу я рекомандую преимущественно пану, для зависящих соображений, а если можно, то и для распоряжений. Для успеха нашего дела было бы весьма желательно, чтобы подобные явления повторялись чаще и систематичнее во всей коренной России, а особенно на Волге, где край, по нашим сведениям, преимущественно склонен к волнениям. Первой задачей, при совершившемся разрешении крестьянского чили хлопского вопроса, которое разрешение, в принципе, является для нас, как для людей шляхетных, все-таки фактом весьма печальным, – должно быть с нашей стороны старание поселить в народе недоверие к правительству и затем возбудить ненависть и вражду к нему. Остальное сделают Бог, время и неусыпные труды добрых патриотов наших, по преимуществу же труды и усилия свентого костела и нашей свентей вяры. Надобно из самага зла извлекать для себя возможную пользу: потщимся и силу дьявольскую эксплуатировать в пользу костела! Минута благоприятствует, и посему не теряйте времени, да не застанет вас всех во тьме слепыми и спящими великий Судия и Решитель судеб, как тать в ночи приходящий, но да предстанете пред Него бодрствующими, с горящими светильниками веры в руках и опоясанныя поясом любви к ойчизне. Борьба наша есть борьба царствия света с царством тьмы дьявола; а Христос сказал: «созижду церковь Мою на камне крепком, и врата адовы не одолеют ее». Ergo: победа за нами! Шлю вам мое пастырское благословение и, любя вас во Христе, пребываю – смиреннейший раб рабов – к вам всегда благосклонным. «Benedicat vos Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen»⁴¹.

Подписи не было.

По прочтении письма и гость и хозяин сосредоточенно погрузились в некоторую задумчивость.

Вдруг за печкой сверчок цвирикнул.

Пшецыньский в тот же миг насторожил уши и, сделав ксендзу рукою жест, который в точности выражал предупредительное междометие «тсс!» – прислушиваясь осторожно чутко, закусил себе нижнюю губу, внимательно осмотрелся вокруг и особенно покосился на окна и двери. Но сверчок цвирикнул вторично – и полковник успокоился.

⁴⁰ Pakciarz – еврей, арендующий панских коров.

⁴¹ Да благословит вас отец, сын и дух святой. Аминь (лат.).

– Через кого получено? – поднял наконец он голову, с облегчительным вздохом, когда Кунцевич подлил из бутылки в обе стопы.

– Конечно, частным путем. Новый эмиссар приехал перед вашим отъездом в Снежки, – таинственно сообщил хозяин, – он и привез мне это.

– Кто такой? – столь же таинственно полюбопытствовал Пшецыньский.

– Некто Францишек Пожондовский, молодой, но надежный человек; из Казанского университета... был на Литве, оттуда прямо и приехал... послан к нам, в нашу сторону.

– По-русски хорошо говорит?

– Як сам москаль! Человек годящийся.

– Ну, то добрже!.. А еще не начал?

– Юж! – махнув рукою, тихо засмеялся ксендз-пробош. – И теперь вот, я думаю, где-нибудь по кабакам шатается! На другой же день, как приехал, так и отправился в веси. Лондонских прокламаций понавез с собою – ловкий человек, ловкий!

– А ведь я к пану за советом! – после небольшого молчания начал Пшецыньский, закурив новую сигару. – Ксендз каноник знает, что сегодня у Покрова служилась панихида по убитым в Снежках?

Кунцевич в ответ кивнул головою, как о деле досконально ему известном.

– Я посылал туда адъютанта, да и кроме того, мне донесли о всех почти, кто там находился, – продолжал Пшецыньский. – Только не знаю, как лучше сделать теперь: донести ли сейчас или как-нибудь помягче стусевать это происшествие?

Ксендз отхлебнул из стопки и, многозначительно уставив глаза в землю, с раздумчивым видом пошевелил и поцмокал губами.

– Мм... Донести! Я так полагаю, что непременно надо донести, и чем скорее, тем лучше, – порешил он. – Не забывай, коханы пршияцелю, – назидательно промолвил он, – что мы люди подлегальные, а потому нам всегда следует прятаться под легальность.

– Но ведь потом, вероятно, арестовать придется? – возразил Болеслав Казимирович.

– Ну, и цо ж! Ну, и арестовать!.. Надо только донести с разбором и арестовать с разбором. Людей одиноких, безродных, из тех, которые покрасней да позадорливей, мы не тронем, – развивал ксендз свою теорию, – те нам и самим еще впредь пригодятся. А тех, у которых есть родня, знакомства, семейства и, главное, которые менее энергичны в деле, – тех позабираем и отправим до казематов. Таким способом мы двух зайцев уьем! Хе, хе, хе! – тихо посмеивался избоченившийся ксендз-пробош, ласково хлопнув полковника по колену и плутовато подмигивая ему глазом. – Все-таки двух зайцев разом! – продолжал он. – Все, что пригодно, то останется, а о тех, которые будут забраны, и в семьях, и в обществе пойдут толки, сожаления, сетования да ропот... Недовольство станет возрастаться, все-таки лишняя капля горечи в чашу, а Панургово стадо не ослабеет, если несколько баранов будут зарезаны!.. Надо только, чтобы бараны были так себе, не важные, из не особенно тонкорунных. Это нам, душечко, все на добро да на пользу! Не надо нигде упускать своих нитей!

Полковник благодарно обнял и звучным поцелуем от души облобызал своего глубокотонкого и политичноумного советника. Недаром оба они называли себя цеглой велькего будованя ⁴².

Приятели распили заветную бутылку; ксендз вдосталь полакомился вареньем, и Пшецыньский стал прощаться. Опять они взялись под локти и взаимно облобызались дважды.

– Ах, да!.. Чуть было не забыл! – остановил Кунцевич своего гостя, провожая его в прихожую. – Если пан увидит завтра утром пани Констанцию, то пусть скажет, что я заеду к ним часов около трех; надо внушить ей, пускай-ко постарается хоть слегка завербовать в

⁴² Cegla – кирпич. Wielkie budowanie – великое строение, – стародавний, специальный термин для обозначения конспиративной деятельности польской sprawy. Возник он первоначально от «белых».

стадо этого фон-Саксена... Он, слышно, податлив на женские речи... Может, даст Бог, и из этого барона выйдет славный баран! – с обычным своим тихим и мягким смехом завершил Кунцевич, в последний раз откланиваясь Пшецыньскому.

Они расстались, но оба в тот вечер не закончили еще свою деятельность на приятельском разговоре. И тот и другой долго еще сидели за рабочими столами в своих кабинетах. Один писал донесение по своему особому начальству, другой – к превелебному пану бискупу с забраного края.

Х Сходка

Дня два спустя после панихиды в номер к Хвалынцеву заглянул Устинов.

– А я к тебе на минутку, – начал он, снимая калоши и разматывая гарусный шарф. – С тобой желает познакомиться одна милая девица... Лубянская. Может, ты заметил? стриженная; стояла около этого Полоярова, что в кумаче-то ходит.

– Что же этой милой девице нужно от меня? – лениво проговорил Хвалынцев, лениво подымаясь с дивана.

– Ну, как «что?» Ты ведь, в некотором роде, интересная личность, новый человек здесь, да еще и в Снежках был... Нет, она в самом деле добрая! Если хочешь, отправимся нынче вечером, – я забегу за тобою.

– Да ведь скука, поди-ко? – поморщился было Хвалынцев.

– Нет, ничего! Увидишь разных народов... Между прочим, Татьяна Николаевна Стрешнева будет, – как бы в скобках заметил учитель.

– Ах, это – та! – воскликнул студент, не сумев воздержаться от хорошей, открытой улыбки.

– Она самая.

– Ну, пожалуй, поедем!.. Я не прочь.

– А кстати, слышал ты самую новую новость? – серьезно спросил Устинов, собравшись уже уходить от приятеля. – Говорят, что нынче ночью арестовали нескольких человек из бывших на панихиде.

Хвалынцева слегка покорило, словно бы и за самим собою почувствовал он возможность быть арестованным.

– Что ж, мудреного ничего нет, – пожал он плечами.

– Штука скверная... и довольно грустная. Вечером, вероятно, услышим кой-какие подробности, – заключил Устинов, подавая руку на прощанье.

* * *

На весьма скромной и порядком таки пустынной улице, называемой Перекопкой, стоял довольно ветхий деревянный домик о пяти окнах. Наворотная жестянка гласила, что дом сей принадлежит отставному майору Петру Петровичу Лубянскому. В калитку этого самого дома, часов около восьми вечера, прошли двое наших приятелей.

Почти в самых дверях из прихожей в небольшое зальце Хвалынцева встретила миловидная брюнеточка, в простом люстриновом платье темного цвета, с пухленьким личиком в том характере, который наиболее присущ брюнеткам чисто русской породы.

– Хвалынцев? – вскинула она на него улыбающиеся глазки, не прибавя к его имени обычного прилагательного «господин».

– Хвалынцев, – подтвердил ей студент с поклоном.

– Ну, здравствуйте! Я хотела познакомиться с вами. Пожалуйста, без церемоний, – можете делать что захочется: хотите – садитесь, хотите – курите, молчите или разговаривайте – как найдете для себя удобнее, хотя мне, собственно, хотелось бы более, чтобы вы разговаривали; но... это, впрочем, для вас нисколько не обязательно.

Прощебетав все это довольно быстро, девушка отошла к большому креслу пред рабочим столиком и уселась за какое-то шитье.

– Папахен, – закричала она в другую комнату, – ступай сюда, познакомься! К нам новый гость пришел!

Из смежной комнаты послышалось шлепанье туфель – и в дверях показался, в чистом стеганом халатике, сивенький старичок с очень добродушным лицом, которое носило на себе почтенную печать многих походов и долгой боевой жизни.

– Очень приятно!.. очень приятно! – приветливо заговорил он, с видимым радушием сжимая и тряся обеими руками руку Хвалынцева. – Извините старика... что я к вам эдак... По-домашнему.

– Ну, папахен! ты это оставь! Хвалынцев, конечно, знает пословицу, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Студент немножко сконфузился, почувствовав при этих словах маленькую неловкость: показалось оно ему больно уж оригинальным; но он тотчас же и притом очень поспешно постарался сам себя успокоить тем, что это, мол, и лучше, – по крайней мере без всяких церемоний, и что оно по-настоящему так и следует.

– Я гостей своих не рекомендую друг другу, – обратилась Лубянская к Хвалынцеву из-за своей работы, – это одне только скучные официальности, а коли угодно, каждый может сам знакомиться.

Студент молча поклонился и, снова ощутив некоторую неловкость, рассеянно перевел глаза на обстановку комнаты.

Небольшое зальце было убрано весьма просто, кое-какая сборная мебель, кисейные занавески, старые клавикорды, а по стенам портреты Ермолова, Паскевича, Воронцова и две литографии, изображающие подвиги простых русских солдатиков: умирающего рядового, который передает товарищу спасенное им полковое знамя, да другого, такого же точно солдата, с дымящимся фитилем пред пороховым погребом, в то время, когда малочисленные защитники укрепления почти все уже перебиты да перерезаны огромными полчищами горцев. В этих портретах, да в этих литографиях, быть может, заключались лучшие, самые заветные и самые теплые воспоминания старого майора.

Приятели наши застали уже здесь кое-кого из гостей. В углу дивана помещался в развалисто-небрежной позе и в неизменной красной рубахе – Ардалион Полояров, а рядом с ним сидела дама лет двадцати семи, весьма худощавая, однако не без остатков прежней миловидности. Волоса ее точно так же были острижены; но то, что довольно еще шло к молодому личику хозяйки, вовсе уж было не к лицу ее двадцатисемилетней гостье, придавая всей физиономии ее не то какой-то птичий, не то – деревянно-кукольный и даже неприятный характер. Дама эта – по имени Лидинька Затц – вместе с Полояровым жгла папиросу за папиросой и, время от времени, кидала на него исподтишка довольно нежные взоры.

Маленький Анцыфров, заложив в карманы руки и на ходу постукивая каблук о каблук, без всякой видимой надобности скучно слонялся из угла в угол по комнате.

Майор, усадив Хвалынцева, как-то застенчиво удалился в свою комнату, запахивая халатик, а Полояров при этом довольно бесцеремонно оглядел усевшегося студента пристальным взглядом; но из-под синих очков характер этого взгляда не мог быть хорошо замечен, так что Хвалынцев скорее почувствовал его на себе, нежели увидел.

– Вы студент? – начал наконец Ардалион, повернув к нему голову и продолжая свое рассматривание.

– Это видно по моему синему воротнику, – слегка улыбнулся Хвалынцев.

– Синий воротник, батюшка, ничего не доказывает. Вон и у жандармов тоже синий воротник. Синий воротник – это одна только форма, а я спрашиваю: по духу студент ли вы? Хвалынцеву показалось это достаточно наглым.

– А что вас так интересует? – впадая в тон Ардалиона, в упор спросил он его.

– То есть меня-то, собственно, оно нисколько не интересует, – уставя глаза в землю и туго, медленно потирая между колен свои руки, стал как-то выжимать из себя слова Полояров, – а я, собственно, потому только спрашиваю, что люблю все начистоту: всегда, знаете, как-то приятней сразу знать, с кем имеешь дело.

– Но ведь приятель мой доселе, кажется, не имеет с вами никакого дела? – довольно мягко вступился Устинов.

Этот неожиданный отпор слегка озадачил Полоярова.

– Все равно! – поправился он в ту же минуту. – Мы вот вместе в гостях теперь у Лубянской, стало быть, вот уж вам и есть, в данный момент, общее дело.

– Ну, коли это так интересно знать, я, пожалуй, успокою вас, – помирил учитель все с той же деликатно-снисходительною улыбкою. – Я вполне уважаю моего приятеля. Довольно с вас этого?

Полояров исподлобья бросил косой взгляд на Хвалынцева и, в знак удовлетворения, с какою-то медвежьей угрюмостью слегка кивнул головою.

– Стало быть, вы наш. Это хорошо! – пробурчал он после некоторого молчания.

– Вы ведь, кажется, помещик здешний? Я так слышала что-то... – прищурясь на Хвалынцева, спросила Лидинька Затц, все время не перестававшая уничтожать папироски.

– Помещик, сударыня.

– Гм... Стало быть, собственник. Это нехорошо! – вернул свое слово Полояров.

Студента начинало покоробливать от всех этих расспросов и замечаний, так что он уже стал недоуменно и вопросительно поглядывать на Устинова: что, мол, все это значит? куда и к кому, мол, завел ты меня?

– Анна Петровна, – обратился учитель к хозяйке, намереваясь сразу повернуть разговор в другую сторону, – слышали вы, нынче ночью аресты сделаны?

– Да, да! Представьте, какая подлость! – вдруг разгорячась и круто повернувшись на каблуках, запищал и замахал руками плюгавенький Анцыфров. – Это... это черт знает что! Действительно, арестовано множество, и я не понимаю, какими это судьбами уцелели мы с Ардальоном Михайловичем... Впрочем, пожалуй, гляди, не сегодня-завтра и нас арестуют.

Анцыфров, видимо, желал порисоваться, – показать, что и он тоже такого рода важная птица, которую есть за что арестовать. Полояров, напротив, как-то злобно отмалчивался. По сведениям хозяйки, оказалось, однако, что забрано в ночь вовсе не множество, на чем так упорно продолжал настаивать Анцыфров, а всего только четыре человека: один молодой, но семейный чиновник, один офицер Инфляндманландского полка, племянник соборного протопопа да гимназист седьмого класса – сын инспектора врачебной управы.

Устинов и стриженная дама весьма удивились: все четверо хотя и присутствовали на панихиде, но были люди далеко не бойкие и едва ли в чем особенно замешанные.

– Это все Пшецыньский! все он!.. Но я вам, напротив, говорю, что взято множество! вы еще не знаете! – продолжал между тем Анцыфров. – Этот Пшецыньский – это такая продувная бестия...

– А еще поляк! – с горьким упреком заметила г-жа Затц. – Бесчестит польское имя!

– Ну, уж я вам доложу-с – по моему крайнему убеждению вот как выходит, – заговорил Полояров, – я поляков люблю и уважаю; но коли поляк раз вошел на эдакую службу, так уж это такой подлый кремень, который не то что нас с вами, а отца родного не пощадит! Это уж проданный и отпетый человек! в нем поляка ни на эстолько не осталось! – заключил Ардальон, указывая на кончик своего мизинца, – и все безусловно согласились с его компетентным мнением.

К воротам подкатила крытая колясочка в одну лошадь, и через минуту в комнату вошла Татьяна Николаевна Стрешнева.

Лицо Хвалынцева заметно прояснилось и даже заиграло ярким румянцем. Он вообще очень плохо умел скрывать свои ощущения. И сам не ведая, как и почему, он неоднократно, в течение этих двух суток, вспоминал ее разговор в церкви с Анатолем и всю ее изящную, стройную фигуру, и эти воспоминания безотчетно были ему приятны.

Вот и теперь вошла она так просто, так хорошо и спокойно, в простом, но очень изящном наряде, со своими честными, умными глазами, со своею безмятежною улыбкою, и Хвалынцеву стало хорошо и весело при ее появлении.

Весело, но немножко принужденно встретила ее Лубянская. Старый майор нарочно вышел к ней в залу и, здороваясь, душевно поцеловал ее русую головку, причем Полояров никак не удержался, чтобы не буркнуть про себя: «скажите, пожалуйста, какие нежности!». Устинов, который, по-видимому, был с нею в очень хороших отношениях, представил ей Хвалынцева, и Хвалынцев при этом покраснел еще более, за что, конечно, остался на себя в некоторой досаде.

– А вы никак в своем экипаже приехали? – адресовался к ней Ардальон, подойдя к окну и заложив большие пальцы рук за пояс.

– В тетушкином, – удовлетворила его любопытству Татьяна Николаевна.

– Так-с!.. Аристократничаете, значит.

Стрешнева оглядела его спокойно, но холодно.

– Желаете папироску? – продолжал Ардальон, подавая ей вынутую пачку.

– Вы, кажется, знаете, что я не курю.

– Я, кажется, знаю это, – подтвердил он, – но терпеть не могу, когда люди вообще сидят, ничего не делая! Папироску сосать – все-таки какое-нибудь занятие. Вот и Лубянскую приучаю, да плохо что-то. Все это, доложу я вам, жантильничанье!.. Женственность, извольте видеть, страдает; а по-нашему, первым делом каждая порядочная женщина, то есть *женщина дела*, должна прежде всего всякую эту женственность к черту!

Ардальон попал на одну из любимейших своих тем и потому пошел расписывать. Анцыфров то и дело поддакивал, мотая белобрысенькой головенкой.

– Нам нужна женщина-работник, женщина-товарищ, женщина-человек, а вернее сказать – женщина-самка, – продолжал Полояров, – а эта гнилая женственность, это один только изящный разврат, который из вашего брата делает кукол. Это все эстетика! (последнее слово было произнесено с особенным презрением). Лубянская, хотите, что ли, папироску? Бавфра, что называется, Сампсон крепкий.

Лубянская не посмела отказаться от предложенного курева и морщась стала втягивать в себя струю крепкого дыма. Полояров глядел на нее забавляючись и самодовольно улыбался.

Вскоре пришли еще двое новых гостей: доктор Адам Яроц и учитель латинского языка Подвилянський. Подали чай. Подвилянський отозвал в сторону Полоярова и таинственно показал ему из бокового кармана сложенный печатный лист.

– Новый номер, вчера только что получен; преинтересная статья есть, – сообщил он тихо.

Ардальон кивнул доктору.

– Послушайте, Яроц, – начал он тише чем вполголоса, – уведите-ка глупого старца, да засядьте с ним в шашки, чтобы не мешал, а мы тут почитаем пока.

Яроц ответно мигнул на это: дескать, смекаем, приятель, и политично отправился к майору.

Но оказалось, что майора теперь, пожалуй, не скоро сдвинешь с точки его разговора. Петр Петрович тоже попал на любимую свою тему и завербовал в разговор Татьяну Николаевну да Устинова с Хвалынцевым. Он толковал своему новому знакомому о воскресной школе, которую, наконец-то, удалось ему, после многих хлопот и усилий, завести в городе

Славнобубенске. Эта школа была его создание и составляла одну из первых сердечных его слабостей.

– Вот, спасибо Татьяне Николаевне да Андрею Павлычу (старик указал на Устинова), помогают доброму делу! Сам я кое-как грамоте обучаю; закон Божий – пречистенский дьякон, отец Сидор, ходит преподавать; Андрей Павлыч по арифметике, а Татьяна Николаевна с Анютой мне, старику, насчет грамоты помогают, да вот тоже которые девочки есть у нас, так тех рукоделию разному обучают. И пока, надо благодарить Бога, отлично шло дело: восемнадцать мальчиков да одиннадцать девочек обучаются – итого, двадцать девять человек-с! Уж сколько благодарностей от родителей получали. Бедные люди-с, за учење платить не из чего, ну, и благодарят... И теперь вот много желающих есть, да поместиться-то негде: помещение у нас тесновато, вот и все тут, как видите! (Старик указал на комнату и обвел ее по стенам глазами.) Уж мы тут что себе надумали: хорошо бы да концертик какой с литературным чтением в пользу школы устроить! Если бы только рублишек полтора ста собрать, так можно бы и пособий кое-каких купить: грифельных досок, букварей, катехизисов, да вот по соседству тут за сто рублей в год просторную квартиру уступают, вот бы и нанять ее под школу-то: человек до ста могло бы обучаться! Уж я решил отправиться к губернаторше; она, говорят, добрая; буду просить ее покровительства да содействия насчет концертика-то. Как вы полагаете? Авось, Бог поможет! а?

– А я вам доложу-с, что вы это насчет школы не тово, – вмешался в разговор подошедший в это время Полояров, – у вас совсем не рационально-с ведется дело.

– Как это, то есть, не рационально, – уставился на него недоумелыми глазами Петр Петрович.

– А так-с! Нет настоящего прынца, здорового направления нет в преподавании. Кабы я повел это дело, я бы сейчас с самого же начала побоку этого вашего отца Сидора.

– Это почему?! – изумились разом и старик, и Устинов со Стрешневой.

– А потому, что глупый человек. Что он их эти молитвы вдолбляжку заставляет учить да побасенки рассказывает! Тут нужно не того: нужно им разъяснить это дело в настоящую! В корень! Нужно здоровую почву подготовить, закваску хорошую дать.

– Конечно, по Штраусу и по Ренану? – с легкою иронией заметила Стрешнева.

– Пожалуй, даже менее по Ренану, а вот по Штраусу-то не мешало бы, – подтвердил Полояров. – Потом в этом же направлении можно бы, пожалуй, отчасти допустить и естественные науки, в самом популярном изложении, а главное, насчет развития: нужно бы чтение здоровое дать.

– А что это вы понимаете под здоровым? – слегка нахмурясь, спросил старик.

– Ну, уж это мы про себя разумеем, – отклонился Полояров, – разное есть.

– Нет, батюшка, извините меня, старика, а скажу я вам по-солдатски! – решительным тоном завершил Петр Петрович. – Дело это я почитаю, ровно царскую службу мою, святым делом, и взялся я за него, на старости лет, с молитвой да с Божьим благословением, так уж дьявола-то тешить этим делом мне не приходится. Я, сударь мой, хочу обучать ребят, чтоб они были добрыми христианами да честными русскими людьми. Мне за них отчет Богу давать придется; так уж не смущайте вы нашего дела!

– Да нет, это так невозможно оставить! в вашу школу необходимо ввести освежающий элемент, а без того все это ни к черту! Эдак-то вы нам только ребят перепортите!

Петр Петрович рукой лишь махнул с затаенной досадой и ушел в свою комнату.

Доктор Яроц улучил подходящую минуту и предложил ему партию в шашки. Старик не отказался.

А тем часом, осторожно притворив дверь его комнаты, Подвиляньский с таинственно-многозначительным видом вынул из кармана свернутый печатный лист и, торжественно держа его над головою, показал всему обществу.

– «Колокол»! – проговорил он нежно-почтительным и даже священно-благоговейным шепотом.

Все общество необыкновенно живо подвинулось к столу, за которым уселся Подвиляньский, и жадно, нетерпеливо приготовилось слушать с тем чувством живейшего интереса, который уже переходил в лихорадочный зуд любопытства.

Подвиляньский начал чтение своим нежно-мягоньким, тихим голосом. Полояров в иных местах выражал одобрение довольно сдержанным мычаньем, а неодобрение поцмокиванием да хмурыми гримасами; зато Анцыфров каждый раз просто взвизгивал и подпрыгивал от преизбытка наслаждения.

– Нет, черт возьми, это все не то! – не выдержал, наконец, Ардальон Полояров. – Этого Александра Иваныча пора уж и в архив бы сдать: выдыхаться начинает, сердечный! Да и глуп стал! Ну, что он тут дураком-то эдаким приветствует все эти реформы!.. Какие тут, у черта, реформы!.. Тут реформа одна только – во! (И он выразительно выдвинул при этом напоказ свой кулак.) Тут реформа – топор!.. Кровопусканьце маленькое учинить нужно господам дворянам да собственникам, тогда и реформы сами собою явятся, а без того – все комедь да сапоги всмятку!..

Хвалынцев наблюдал, какое впечатление производят на присутствующих вещания Ардальона. Все общество, за исключением Стрешневой да Устинова, слушало его с весьма страшной верой и раболепным благоговением. Самоуверенность, с какою обыкновенно изрекал свои приговоры Ардалион Полояров, показывала, что он давно уже привык почитать себя каким-то избранником, гением, оракулом, пророком, вещания которого решительны и непогрешимы; он до такой степени был уже избалован безусловным вниманием, уважением и верою в его слова, что требовал от всех и каждого почтительного благоговения к своей особе, принимая его в смысле необходимо-достождолжной дани.

Стрешнева слушала, слушала и наконец не выдержала. Довольно явная ироническая усмешка заиграла на ее хорошеньких губках, а глаза глядели на вещателя с беспощадным пониманием всей его внутренней сути.

Тот это заметил. Его покорило и передернуло под ее спокойным взглядом; брови насупились, и на лицо выступила багровая краска.

– Вы!.. Стрешнева! послушайте! – начал он тем нахальным тоном, который уже прямо сбивался на явную и предумышленную дерзость.

– Во-первых, господин Полояров, прежде чем я вас послушаю, – перебила она его совершенно спокойно и не изменяя характера своей прежней улыбки, – я охотно желала бы напомнить вам, что у меня есть имя. Зовут меня Татьяной Николаевной.

– Да кто там будет еще помнить все ваши имена!.. Моей голове нет лишнего времени заниматься такими пустяками!

Полояров все более и более терял необходимое хладнокровие.

– В таком случае, чтобы не утруждать себя, – продолжала девушка, – вы бы могли очень просто прибавить к моей фамилии маленькое слово «госпожа». Это ведь не трудно и вежливо.

– Ну, я насчет галантерейностей не мастер! Это все рутина-с!.. Я, извините, забываю все, что в вас эта барская закваска сидит. Я хотел только спросить, чего это вы так ухмыляетесь, на меня глядячи? Изволили вы найти в моих словах что-нибудь смешное и несообразное? Любопытно было бы знать, что именно?

– О, если это вам так любопытно, так извольте!

– Потрудитесь объясниться.

Полояров избоченился и приготовился слушать с тем высокомерным, зевесовским достоинством, которое почитал убийственным, уничтожающим для каждого дерзновенного, осмелившегося таким образом подойти к его особе. А между тем в нем кипела и багровыми

пятнами выступала на лицо вся его злоба, вся боль уязвленного самолюбия. В ту минуту у него руки чесались просто взять да прибить эту Стрешневу.

Татьяна Николаевна очень хорошо видела и понимала его внутреннее состояние: он не прощал ей этого упорного отсутствия всякого поклонения его особе, и в тот момент ей сильно захотелось, что называется, порядком проучить Ардальона Полоярова.

– «Ухмыляюсь» я, как вы выразились, тому, – начала она еще с большим спокойствием, – что мне жалко вас стало. Ну, что вы нас, девчонок, удивляете вашим радикализмом!.. Это не трудно. А жалко мне вас потому, что вы сами ведь ни на горчичное зерно не веруете в то, что проповедуете.

– Мое дело не расхочется с моим словом! – с гордым презрением и будто неуязвимым достоинством перебил Полояров. – За меня факты-с!.. Я, милостивая государыня, не далее как два дня назад с паперти говорил народу!

Анцыфров, который было смиреннько съежился при словах Стрешневой, теперь вдруг просиял и, потирая руки, даже слегка подпрыгнул на своем стуле. «Что, мол, взяла!» Он торжествовал победу своего друга.

– Эх, Ардальон Михайлович, полноте! – с горьким сожалением покачала головой девушка. – Слышала я и видела, что вы говорили и что делали! Улучили минутку, когда квартальный куда-то отвернулся, а подъехала полицмейстерская пара впристяжку... Извините, но я бы очень хотела знать, что случилось с вами и с вашим красноречием в ту самую минуту?

Устинов не выдержал и рассмеялся. Легкая улыбка покосила и губы Хвалынцева; Анцыфров же снова примолк и съежился. Остальные сидели молча, пригнетенные, словно бы ожидая, что вот-вот сейчас разразится гроза и буря. Одна только Стрешнева была совершенно спокойна и улыбалась своей ясной, безмятежной улыбкой.

Пунцовый Ардальон вдруг побледнел и поднялся с места. Это уже было слишком. Этого он даже и от Стрешневой не ожидал. Кулаки его судорожно были сжаты! Губы нервночески подергивало злобственной усмешкой. Он, видимо, боролся с собою, стараясь сдерживать и подавить в себе какое-то нехорошее чувство, и потому угрюмо зашагал по комнате.

Все молчали, и всем это молчание было особенно тягостно; но никто не чувствовал ни возможности, ни желания заговорить о чем бы то ни было – первым.

– Так по вашему убеждению я струсил? – с иронической гримасой, но уже гораздо мягче и на несколько тонов ниже заговорил наконец Полояров, остановясь перед Стрешневою. – Нет-с, Татьяна Николаевна, ошибаться извольте!.. Не трусость, а благоразумие во мне говорило! Эта самая голова-с (и он не без поползновения на эффект указал на свою кудластую шевелюру), да! эта вот самая-с башка пригодится еще и впредь на что-нибудь более серьезное... В наше время каждый честный деятель обязан побережь себя до решительной минуты. Поживете, так увидите; а не увидите, так услышите! – веско и многозначительно закончил он с легким полупоклоном, и фигурка Анцыфрова снова просияла, да и все присутствовавшие почувствовали, словно камень какой с плеч у них скатился.

Ардальон с удовольствием заметил, что авторитет его снова восстановлен, и ему теперь захотелось хоть чем-нибудь поскорее сгладить последние следы недавнего настроения своих поклонников, чтобы окончательно закрепить в их глазах полную незыблемость своего авторитета. Поэтому он подошел к Подвилянскому и, хлопнув его слегка по плечу, сказал с улыбкой:

– Ну, пане-брате, воспроизведи-ко что-нибудь на фортоплясе!

Подвилянский не заставил долго просить себя и на разбитом фортепиано стал брать какие-то аккорды.

– Что это такое вы играете? – спросил его кто-то.

– Польское, – отвечал он тихо, но гордо. – Это наш гимн: «ze dymen pożarów»⁴³.

Все удвоили внимание и прослушали гимн с видимым удовольствием и большой симпатией. Анцыфров захлопал в ладоши и пристал повторить.

– Нет, постойте! – перебил Полояров. – Я вам спою штуку! Играй-ко, пане-брате, помнишь, я учил тебя онамедни, на голос: «Я посею ль, молода-младенька». Слыхали вы, господа, русскую марсельезу?

– Bravo! Bravo! – завизжал Анцыфров.

Подвиляньский взял несколько новых аккордов, а Полояров, видимо рисуясь, стал в размашисто-ухарскую позу, откинул назад свои волосы, обдергал книзу кумачовую рубаху и запел звучным басом:

«Долго вас помещики душили,
Становые били,
И привыкли всякому злодею
Подставлять мы шею.
В страхе нас квартальные держали,
Немцы муштровали,
Про царей попы твердили миру...»

Но в эту самую минуту из кабинета показался майор в своем халатике.

– Ну, нет, батюшка, у меня в доме таких песен не пойте! – остановил он Ардальона прямо и решительно. – И как это вам не стыдно: взяли хорошую солдатскую песню да на-ко тебе, какую мерзость на нее сочинили! Перестаньте, пожалуйста!

– Ха-ха-ха! – расхохотался Полояров. – Что это вы, батенька, никак Пшецыньского испужались?

– Что-с? Пшецыньского? – слегка прищурился на него старик. – Я, сударь мой, турка не пугался, черкеса не пугался, да англичанина с французом не испугался, так уж вашего-то Пшецыньского мне и Бог да и совесть бояться не велели! А песню-то вы все-таки не пойте!

– Стало быть, прынцыпы, убеждения не позволяют? Ась? – аляповато подтрунил Полояров.

– Да уж там какие ни есть убеждения, а свои, не купленные! – отрезал ему Петр Петрович. – Я, сударь мой, старый солдат!.. Я, сударь мой, на своем веку одиннадцать ран за эти свои убеждения принял, так уж на старости-то лет не стать мне меняться.

– Ну, папахен! Что это такое! – с неудовольствием фыркнула Лубянская.

– Что, моя милушка? Что, голубчик?

– Уж и песню наконец нельзя петь!.. Это чистые глупости! Это деспотизм!

– Песню, дружок, пой сколько хочешь, а мерзостей петь да слушать не следует.

– Ну, хорошо, хорошо!.. – с многозначительной сухостью подхватила девушка, – я с тобой потом поговорю! Теперь не время.

Это походило на какую-то угрозу. Взволнованный старик в замешательстве, с невыразимой тоскою бросил тихий взгляд на свое детище. По всему было видно, что он любит свою дочку беспредельно, до безумия, до всякой слабости.

– Ну, ну, полно, – забормотал он, словно бы извиняясь. – Ну, Господь с тобой, Нюточка!.. Разве я тебя стесняю в чем!.. Пой себе, коли охота такая, только дай мне уйти прежде, я уж этих песен слушать не стану.

И с тихим, подавленным вздохом он ушел из комнаты.

⁴³ С дымом пожара (польск.).

Полояров снова было запел как ни в чем не бывало, но Татьяна Николаевна тотчас же поднялась с места, мигнула Устинову и громко стала прощаться со своей подругой. Вслед за ней поднялись и Устинов с Хвалынцевым. Подвилянський, обладавший большим тактом, чем его приятель Полояров, перестал аккомпанировать и тоже взялся за шляпу.

Лидинька Затц подошла к Ардальону и попросила проводить себя.

– Ну, нет! уж увольте! – отклонился он, значительно поморщась, и вслед за тем прибавил тише чем вполголоса: – Я хотел бы лучше уж здесь как-нибудь остаться на ночь.

Лидинька бросила на него взгляд вопросительного и несколько ревнивого свойства.

– Это для чего-с? Скажите, пожалуйста?! – тихо прошипела она очень нервичным голосом.

– Да так... не хотелось бы дома, – замялся Ардальон, – неровно и в самом деле полиция... жандармы... Уж лучше эти дни кое-где по чужим местам переждать бы... Спокойнее!

– Ступайте к нам ночевать! – охотно и поспешно предложила Затц.

– Да ведь ваш благоверный...

– Это ровно ничего не значит... Он теперь в клубе... Мы, кажется, всегда вам рады.

– Ну, ин быть по-вашему! Куда ни шло! – махнул наконец рукой Ардальон после некоторого колебания и стал прощаться.

Лубянская крепко сжала его руку, и Устинов заметил, что она с каким-то опасением, полустрахом и полунадеждой проводила его за порог тревожными и влюбленными глазами.

На душе Хвалынцева, особенно после маленькой истории с песней, было как-то смутно и неловко, словно бы он попал в какое место не вовремя и совсем некстати, так что, только очутившись на свежем воздухе, грудь его вздохнула легко, широко и спокойно.

Вышли на улицу почти все разом. Подвилянський с доктором кликнули извозчика и укатили. Полояров закутался, поднял воротник пальто, упрятал в него нос и бороду и низко надвинул на глаза свою шляпу. Очевидно, после сегодняшних арестов он даже и ночью боялся быть узнанным. Стриженная дама повисла на его руке.

– Анцыфров! – обернулся он на своего адъютанта, – я нынче не ночую дома – можешь располагаться свободно.

– Как же так?.. Ведь хотели же вместе?.. Это, собственно, как же? – загозил оторопевший пискунок, который совсем не ожидал такого пассажира.

– Как знаешь... Мне-то что!

– Но... как же это так, ей-Богу!.. Одному-то?.. Уж лучше бы как-нибудь вместе... Я тоже не хочу домой к себе... У меня тоже ведь не безопасно... Уж, право, лучше бы вместе...

– Ну, ладно! Проваливай к черту! – порешил Полояров и, без дальнейших церемоний, пошел себе со своей дамой, не обращая на злосчастного пискунка ни малейшего внимания.

Тот постоял с минуту в самой затруднительной нерешительности и, нечего делать, скрепя сердце, потрусил кое-как восвояси.

Ночь стояла ясная, тихая и сухая, с легким морозцем.

– А хорошо бы пройтись!.. у меня, ей-Богу, даже голова заболела, – сказала Стрешнева, и Хвалынцев предложил ей руку, а Устинов пошел рядом с ней сбоку. Крытые дрожки шагом ехали сзади.

– А, кажется, недолюбливает вас этот Полояров, – начал Хвалынцев.

– Обоих недолюбливает, – улыбнулась девушка, – и меня, и Андрея Павлыча; но меня более.

– За что же такая немилость?

– А так. Мне, видите ли, немножко известно его прошлое.

– Но разве это прошлое такого свойства, что за него можно не любить тех, кто знает его?

– Отчасти, да. Мне, конечно, Бог с ним, какое мне до него дело! Но Анюту жаль. Она добрая и хорошая девушка, а этот барин ее с толку сбивает. Ведь он у всех у них в ранге какого-то идола, полубога. Ведь ему здесь поклоняются.

– Но... странное дело! – заметил студент. – Сколько могу судить, он, кажется, и не особенно умен.

– Э, помиуйте! А наглость-то на что? Ведь у него что ни имя, то дурак; что ни деятель не его покроя, то подлец, продажный человек. Голос к тому же у него очень громкий, вот и кричит; а с этим куда как легко сделать себя умником! Вся хитрость в том, чтобы других всех ругать дураками. Ведь тут кто раньше встал да палку взял – тот и капрал.

– Ну, а прошлое-то его какое? – полюбопытствовал Хвалынцев.

– По питейной части служил, когда Верхохлебов в Сольгородской губернии откуп держал, а потом очень недолгое время становым был, но... что называется, с «начальством не поладил». Впрочем, Ардальон Михайлович о своем прошлом не любит распространяться.

– А теперь-то он что же? – продолжал Хвалынцев, которого после всего этого заинтересовала несколько личность Полоярова.

– Теперь?.. А вот, великим деятелем стал, статьи разные пишет, в журналы посылает.

– Ну, и печатают?

– Отчего ж не печатать! Поди-ко, сперва раскуси человека! Ведь там не знают его. Но это бы все Бог с ним! А мне Анюту жаль и старика-то жаль. Хороший старик.

– Да неужели же она не видит и не знает?

– Какое! и слушать ничего не хочет, и не верит. Ведь он, – говорю вам, бог для них. Совсем забрал в руки девочку, так что в последнее время со мною даже гораздо холоднее стала, а уж на что были друзьями.

Вскоре наши путники дошли до дому, где жила Стрешнева со своей теткой. На прощанье она совсем просто пригласила Хвалынцева зайти как-нибудь к ним, буде есть охота. Тот был рад и с живейшею благодарностию принял ее приглашение. После этого он вернулся домой, в свою гостиницу, чувствуя себя так легко и светло на душе и так много довольный даже и нынешним вечером, и собою, и своим приятелем, и ею – этою хорошей Татьяной Николаевной.

XI

Кто предполагает и кто располагает

На другое утро Петр Петрович составил и чистенько переписал коротенькую докладную записку о разрешении литературно-музыкального вечера в пользу его школы; затем напялил свой отставной мундир, со всеми регалиями, и отправился, помолясь, к губернаторше.

Констанция Александровна деловые приемы свои назначала обыкновенно во втором часу. Гораздо ранее этого времени Петр Петрович сидел уже на стуле в ее приемной. Он попросил доложить о себе. Лакей угрюмо покосился на него и хотел было пройти мимо; но майор тоже знал достодолжную в этих случаях сноровку и потому, подмигнув лакею, сунул ему в руку двугривенничек. Ее превосходительство выслала сказать майору, чтоб он обождал – и Петр Петрович ждал, испытывая томительное состояние просительской скуки.

Несколько раз мимо его промелькнула горничная; дежурный чиновник промчался куда-то; гувернантка повела на прогулку пару детей madame Гржиб, а майор все ждет себе, оправляясь да побрякивая при проходе каждого лица, и все с надеждой устремляет взоры на дверь, ведущую в покой губернаторши.

Вот смиренно-мягкою, неслышною походочкою прошел за эту заветную дверь славно-бубенский ксендз-пробощ Кунцевич, и о его приходе, по-видимому, никто не докладывал. После него майору пришлось еще сидеть, по крайней мере, около часу. Просительская скука начинала в нем уже переходить в просительскую тоску, как вдруг лакей с какою-то особенною официальностью распахнул двери – и из смежной комнаты послышался шорох тяжелого шелкового платья.

Майор молитвенно вздохнул, перекрестился мелким крестиком, поклевая сложенными пальцами между третьей и четвертою пуговицами своего мундира, и в некотором волнении поднялся с места.

Губернаторша вошла довольно величественно, распространив вокруг себя легкий запах лондонских духов, и с официально-благоклонною снисходительностью остановилась перед майором. От всей позы, от всей фигуры ее так и веяло губернаторшей, то есть в некотором роде правительницей, властью предержашею.

– Отставной майор Лубянский, – отрекомендовался Петр Петрович и протянул вперед руку с докладной запиской.

Констанция Александровна ответила величественным кивком и устроила на лице такую мину, которая ясно говорила, что она готова благоклонно выслушать.

– К вашему превосходительству... зная ваше доброе сердце... во имя просвещения и человеколюбия... – неловко заговорил Петр Петрович, сбиваясь на фразы заранее обдуманной речи.

Старик умел служить и точно исполнять приказания, умел когда-то стойко драться с неприятелем и стоять под огнем, но никогда, во всю свою жизнь, и ни о чем не умел просить какое бы то ни было «начальство» или какую бы то ни было «знатность». Поэтому и в данную минуту он почти совсем переконфузился, особенно встречая на себе этот неотводный, вопросительный взгляд губернаторши.

– Мы учредили воскресную школу, – продолжал он кое-как свои объяснения, – бедные дети... кое-как обучаются, но скудость средств, помещения... Тут, впрочем, все это обстоятельно изложено, – добавил он, указывая на докладную записку.

Губернаторша опять кивнула головой и продолжала вопросительно глядеть на него.

– Для поддержки дела осмеливаюсь просить ваше превосходительство принять его, в некотором роде, под свое покровительство... Мы предположили литературно-музыкальный

вечер... надобно разрешение... и потом если бы ваше превосходительство пожелали помочь нам своим сочувствием и участием... и вот тоже по части раздачи или рекомендации билетов, то наша школа процвела бы благодаря вашему превосходительству.

Склеив кое-как эти фразы и развернув их наконец перед губернаторшей, майор вздохнул свободно, словно бы груз какой сбросил с своей шеи.

– Вы хотите, чтоб я приняла что-нибудь в концерт? – спросила г-жа Гржиб, которая, будучи очарована собственным голосом, никогда и нигде почти не упускала приличного случая похвастаться им перед публикой.

– О, ваше превосходительство!.. я даже и не смел бы подумать... но если вы столь добры и великодушны, то это все, чего мы только могли бы желать!.. ведь бедные дети, ваше превосходительство... ведь это для них тот же хлеб насущный!..

– Хорошо. Я подумаю... Все, что могу, сделаю для вас непременно... Я постараюсь; будьте уверены! – проговорила губернаторша самым благосклонным тоном и отпустила майора, наградив его новым кивком величественного свойства.

Майор ушел необыкновенно довольный собою и вполне счастливый таким результатом своей просьбы, после которого он, в простоте душевной, считал существование школы вконец обеспеченным.

* * *

Возвратившись от духовной своей дщери, имевшей обыкновение во всех почти делах своих прибегать к пастырскому совету, ксендз Ладыслав тотчас же написал маленькую записочку к учителю Подвиляньскому, в которой убедительнейше просил его пожаловать к себе в возможно скорейшем времени. Записка эта была отправлена с одним из костельных прислужников.

Подвиляньский не замедлил явиться и был принят в скромной приемной комнате, потому что комфортабельный «лабораториум» предназначался у ксензда-пробоцца только для самых коротких приятелей. Впрочем, и на этот раз дверь в прихожую была тщательно приперта самим хозяином.

– Припомнил я, – начал Кунцевич, усевшись поближе к своему духовному сыну, – пан поведал мне раз, что имеет знакомство с майором Лубяньским. Цо то есть за человек тэн пан майор Лубяньский?

– Москаль... и самый заядлый москаль, – отрекомендовал учитель своего знакомца.

Кунцевич, в каком-то соображающем размышлении, многозначительно поднял брови над опущенными в землю глазами.

– Гм... так и думал!.. Так и думал!.. – раздумчиво прошептал он, как бы сам с собою. – Гм... А как он вообще до дела... безвредный?

– Н... не думаю, – усомнился Подвиляньский. – Дочка его – та годится, а сам – не думаю.

– Что же он?

– Старый солдат... заядлый схизматик... на царя своего Богу молится... Нет, человек не годящийся!

– А на школу имеет влияние?

– О! И пребольшое! – сам учит, сам над всем надзирает... Учит, конечно, в своем, в московском духе.

– Гм... вот как!.. Это неудобно... неудобно! Ну, а если б от него перенять как-нибудь школу в другие руки, понадежнее?

– Для дела вообще это было бы хорошо. И люди нашлись бы. Я так думаю.

Ксендз внимательно поднял глаза на своего собеседника.

– А есть на примете? – спросил он. Учитель в знак утверждения склонил голову.

– Из наших? – продолжал Кунцевич с легкой улыбкой.

– То есть нет, из стада, – пояснил Подвиляньский, – люди завятые; повели бы дело бойко.

Ксендз опять опустил глаза в землю и на несколько времени задумался.

– А что, не отказался бы пан, – пытливо начал он, – кабы начальство вмешалось в дело и передало бы пану администрацию этой школы?

Подвиляньский немножко изумился и, в свою очередь, задумчиво стал глядеть на пол.

– Хоть бы на первое время, – продолжал каноник, – лишь бы только дело поставить как следует, а там можно будет передать с рук на руки другому надежному лицу из наших; сам в стороне останешься, и опасаться, значит, нечего!

Учитель, в нерешительности, задумчиво пожал плечами.

– Это – дело совести, – спокойным и строгим голосом проговорил каноник, не сводя пристальных глаз со своего духовного сына. – Это – дело Бога и... ойчизны, – прибавил он тихо, но выразительно: ни единым хлебом жив будет человек! надо глядеть в будущее...

Подвиляньский подумал и согласился.

– Только как же мы устроим это? – спросил он. Ксендз загадочно улыбнулся и слегка развел руками.

– Подумаем и придумаем, с Божьею помощью! – сказал он, покорно склоняя голову, как пред высшей волей Провидения. – Сказано: толцые и отверзится, ищите и обряцете – ну, стало быть, и поищем! А если что нужно будет, я опять уведомя пана.

Подвиляньский смиренно подошел к нему под благословение, и они расстались.

XII

Иллюзии и разочарования старого майора

В самом счастливом настроении духа, ретиво принялся майор за свои хлопоты. Съездил к старшинам клуба и выпросил залу, околесил полгорода, приглашая участвовать разных любителей по части музыки и чтения, заказал билеты, справился, что будут стоять афишки, с бумагой, печатанием и разноской по городу, и наконец общими усилиями с Устиновым и Стрешневой составил программу литературно-музыкального вечера. Оставалось только губернатору разрешить, цензору пропустить, полицмейстеру подписать и затем – печатать и выпускать афишу.

Но судьба готовила майору несколько разочарований, и первое из них наступило для него в ту минуту, когда он приехал к полицмейстеру получить от него разрешенную и подписанную программу.

– Ее превосходительство поручила мне передать вам, – сообщил ему полковник Гнут, – что она по особым и непредвиденным обстоятельствам не может участвовать у вас в концерте; поэтому я уже самолично распорядился вычеркнуть ее имя.

– Эх!.. Как же это так! – с раздумчивым сожалением прицмокнул да покачал головою опешенный Петр Петрович. – Ну, жаль, очень жаль!.. Ее превосходительство была так милостива, сама даже предложила... Мы так надеялись... Очень, очень жаль... А участие ее много помогло бы доброму делу... Много помогло бы!

Он говорил это как-то рассеянно и равнодушно, глядя в переносицу Гнуту, но словно бы и не видя его.

– Н-да! Но... что же делать! – пожал тот плечами. – Ее превосходительство весьма сожалеет и... даже извиняется; но... она тем не менее готова всячески помочь вам и потому поручила мне взять от вас несколько билетов для раздачи.

– Ее превосходительство сама раздать желает? – осведомился старик.

– Н-да... то есть нет! Она поручила мне распорядиться этим делом... Да вы не беспокойтесь – уж я как-нибудь постараюсь.

С скрипучим чувством на душе вышел майор от полицмейстера.

«Вот те, бабушка, и Юрьев день!.. вот те и сочувствие! – с горечью помыслил он, – эдак-то и без вашего превосходительства обошлись бы... Выходит, что просить не стоило!»

Майор, однако, не унывал. Тридцать билетов он отправил к полицмейстеру да несколько штук вручил для раздачи Устинову с Татьяной Николаевной да самолично позавозил еще кое к кому и весьма многим разослал в конвертах вместе с афишами. И тут-то вот для него начались новые разочарования. Иные отказывались от билетов, говоря, что возьмут потом или что уже взяли, другие поприсылали их обратно – кто при вежливо извинительных записочках, выставляя какое-нибудь благовидное препятствие к посещению вечера, а кто, то есть большая часть, без всяких записок и пояснений, просто возвращали в тех же самых, только уже распечатанных конвертах, чрез своего кучера или с горничною, приказав сказать майору, «что для наших, мол, господ не надо, потому – не требуется». И майор очень сердился на то, что почти все кучера, возвращавшие билеты, переминаясь, просили у него же «на чаек-с».

– Ну, уж это и в самом деле черт знает что! – разводил он руками; – словно бы ты у них для самого себя на бедность выпрашиваешь! Эдакое английское равнодушие! (майор полагал, что вообще англичане все очень равнодушны). Ведь общественный же интерес! Ведь свое же родное, русское дело!.. Тьфу ты, что за народ нынче пошел!

– Да-с, вот то-то оно и есть! – в ответ на это поддразнивал его Полояров, который почти дня не пропускал без того, чтобы не побывать у Анны Петровны и, заодно уж, позавтракать там, либо пообедать, либо чаю напиться. – А кабы мы-то делали, так у нас не то бы было.

– Вы!.. Да что такое вы? – досадливо горячился Лубянский.

– Мы-то?.. А мы сила живая – вот мы что. А вы – сила мертвая, ваша песенка спета, оттого и общественного сочувствия вам нет.

– Ну, батенька, пошли! Поехали!

Петр Петрович только рукой махал на это.

Суток за двое до назначенного дня вдруг стало известно по городу, что графиня де-Монтеспан большой «раут» у себя делает, на котором будет весь эlegantный Славнобубенск и, как нарочно, дернула же ее нелегкая назначить этот «раут» на то самое число, на которое и майор назначил свой вечер. Вольной или невольной причиной этому явилась все та же очаровательная Констанция Александровна, которая давно уже собиралась к графине, а теперь совсем и из ума ей вон про майорский концерт! По забывчивости же сама же назначила ей день этого «раута».

Майор просто в отчаяние пришел. Что тут делать! Отложить вечер! Но афиши уже напечатаны да и клуб уступил ему залу только на это именно число. Хоть совсем отказывайся от заветной идеи! Но... и отказываться было уже поздно: все необходимые предварительные расходы уже сделаны, деньги затрачены, а Лубянский вообще был далеко не из числа обладателей излишних капиталов. Оставалось положиться на авось да на волю Божию. Так он и сделал. А тут еще – новый сюрприз: в самый день концерта, часа за два до начала, полицмейстер возвратил ему, из числа тридцати, девятнадцать билетов нераспроданными, извиняясь при этом, что, несмотря на все свои старания, никак не успел рассовать почтеннейшей публике более одиннадцати билетов. Зато в это время, среди всяческих горечей, довелось майору познать и сладость маленького утешения: Болеслав Казимирович Пшецыньский не только не отказался от посланного ему билета, но еще прислал за него, сверх платы, три рубля премии, при очень милой записке, в которой благодарил Петра Петровича за оказанное ему внимание и присовокуплял, будто почитает себя весьма счастливым, что имеет столь прекрасный случай оказать свое сочувствие такому истинно благому и благородному делу, как просвещение русского народа.

– Вот, и судите тут после этого! Ругают человека за то только, что жандармский мундир носит! – горячо увлекался Петр Петрович, показывая всем и каждому из своих друзей письмо полковника, – а он хоть и поляк, а посмотрите-ка, получше многих русских оказывается!.. А вы ругаете!

И действительно, друзья Петра Петровича находили поступок жандарма прекрасным и вполне достойным каждого порядочного человека. Особенно ценили в нем, в жандарме, это никем нежданное сочувствие «такому принципу». Один только все отрицающий Полояров умалывал значение штаб-офицерского великодушия.

– Эка штука три рубля! – говорил он фыркая и задирая голову. – Оттого и сочувствует, что у Петра Петровича и у самого-то преподавание-то идет почитай что на тех же самых жандармственных принципах; а небойсь, кабы мы вели эту школу, так нам бы кукиш с маслом прислал! Эта присылка только еще больше все дело компрометирует.

– Ну, батенька! Опять пошли-поехали! На вас не угодишь! – отмахивался Петр Петрович.

XIII

В пользу славнобубенской воскресной школы литературно-музыкальный вечер, с участием гг. таких-то и таких-то

В ярко освещенной зале довольно много пустых мест, особенно в первых рядах, но все-таки нельзя сказать, чтобы было уже пусто. Публика мало-помалу набиралась. Приехали даже на короткое время многие из приглашенных на «раут» графини де-Монтеспан, куда явиться было слишком еще рано. Поэтому несколько дам блистали своими чересчур открытыми плечами (славнобубенские жены и дочери вообще очень любят декольтироваться), а мужчины черными фраками и белыми галстуками, – обстоятельство, придававшее майорскому вечеру несколько официально-парадный характер. Задние ряды в зале были даже полны: поддержали господ офицеры Инфляндманландского полка да чиновничество второй и третьей руки, которые преимущественно разбирали билеты при входе, а уж о хорах нечего и говорить: там было битком набито, и душно, и говорно, словно в пчелином улье, ибо верхами почти безраздельно владели гимназисты с семинаристами. Цены, кроме первых рядов, майор поназначал весьма дешевые и потому теперь с живейшим удовольствием стал замечать, что в убытке никак не останется, а кажись, еще и желаемую сумму соберет. То были блаженные времена, когда всякие литературные вечера не успели еще утратить своей свежести, своей отчасти «прогрессивно-либеральной» моды.

Вышел Устинов и прочел что-то из Гоголя. Ему умеренно похлопали.

Вышла какая-то дебелая барышня и громко отбарабанила нечто из Мендельсона-Бартольди. И ей тоже похлопали.

Хвалынцев прочитал «Развеселое житье» из щедринских рассказов, а за ним появилась другая барышня и, под аккомпанемент Лидиньки Затц, пропела довольно сносно арию из «Карла Смелого» и романс «Я очи знал, о, эти очи», составлявший тогда модную слабость града Славнобубенска. И барышне, и Хвалынцеву похлопали дружнее, чем прочим.

Затем на эстраде появился высокий гимназист седьмого класса, Иван Шишкин, который очень хорошо читал стихи. Гимназист был встречен громом рукоплесканий на хорах, и бойко наизусть продекламировал некрасовского «Филантропа», по окончании которого чтеца вызывали раза три или четыре, причем он форсисто, но неловко раскланивался.

Затем играли, читали и пели разные любители, и публика всех их награждала благодушным хлопаньем. Майор хлопал благодушнее всех остальных и, сидя в уголке, на особом стуле, просто сиял от восторга: тут воочию сбывалась заветная мечта о расширении и преуспевании его родного детища, его воскресной школы. Он все время находился в какой-то ажитации: то порывисто срывался с места и убегал в смежную «артистическую» комнату, предназначенную для участвующих, то озабоченно приказывал человеку поправить какую-нибудь свечу или лампу, то снова торопился сесть на свое место, чтобы не пропустить начала какого-нибудь нумера и успеть похлопать при встрече исполнителю! А в «артистической комнате», смежной с клубным буфетом, кипел самовар и стоял лимонад с оршадом. Сюда специально прикомандировались Полояров с Анцыфровым и Подвиляньский, которые совсем почти не показывались в зале. Полоярова все эти дни куда как сильно подмывало с эффектом показать свою особу на публичной эстраде; но... хотя боязнь ареста и поуспокоилась в нем, однако же не настолько еще, чтобы рискнуть появлением пред публикой, и Полояров к тому же полагал, что уж если он заявит себя, то должен заявить не иначе как только чему-нибудь сильно «в нос шибательным». А это находил он не совсем-то удобным в рассуждении полковника Пшецыньского.

Подвиляньский потребовал из буфета бутылку шампанского и предложил Полоярову с Анцыфровым распить ее по-приятельски. В это время подвернулся на глаза ему гимназист Шишкин.

– Господин Шишкин, пожалуйста-ка сюда, – кликнул его учитель. – Вы что еще будете читать?

– «Клермонский собор», Майкова, – словно на экзамене, отчетисто отчеканил юноша в силу давно уж усвоенной ученической привычки.

– И тоже наизусть будете?

– Наизусть... Я всегда наизусть.

– А не хотите ли для храбрости?

– Чего это-с?

– А вот, стаканчик сладенького?

– Нет-с, покорно благодарю, – смутился юноша.

– Э, полноте! Ведь мы не в классе! Не бойтесь, я не скажу инспектору! – приятельски улыбнулся Подвиляньский, подавая ему полный и довольно уемистый стакан. – Пейте-ка, пейте! Это ведь легонькое винцо, слабое, совсем дамское... Ну, хватите-ка!

– Да я... извините... признаться сказать... – принимая стакан, замялся немножко гимназист, ободренный внутренне такою приятельскою фамильярностью своего учителя, – признаться сказать, я уж тут... по секрету... два стакана пуншику хватил... Не много ли-с будет уж?

– Но, что за вздор!.. Не маленький ведь, не свалитесь!.. Сами, батюшка, бывали когда-то в вашей шкуре; знаем, как пьют гимназисты! Ну-ну! для храбрости! без разговоров!

Вконец уже ободренный и подзадоренный юноша, которому сказали столь лестную, хотя и косвенную похвалу, насчет того, как умеют пить гимназисты, слегка поклонился и залпом вылил в себя стакан шампанского. Ему хотелось показать пред учителем и пред этими двумя господами, что он совсем молодец.

– Вот так! по-нашему! по-ученому! – похвалил Подвиляньский. – Берите-ка стул да присядьте.

Гимназист развязно двинул стул и опустился на него совсем уже бойко, что называется, по-гимназически, «с форсом».

– Славно читает стихи, – кивнул на него Подвиляньский, обращаясь к Анцыфрову и Полоярову. – Вы знакомы, господа?

– Еще бы! Ивана Шишкина да не знать! – подхватил пискунок, – ведь на серебряную медаль кончает!.. А?.. Каков?

– Может, и на золотую дернем! – не без самодовольно-гордой заносчивости похвалился юноша, покосясь на барышень. Он уже начинал понемногу хмелеть и все более чувствовать себя молодцом.

– А славно, ей-же-Богу, славно декламирует! – воскликнул Подвиляньский и даже прижмурил глазки, будто при воспоминании о том наслаждении, какое доставляет ему декламация Шишкина. – Он... ведь вы с ним не шутите. Он помнит черт знает сколько запрещенных стихов. Кажется, всю «Полярную звезду» наизусть выучил. Память-то богатая какая!.. А?.. Каков?!.. Из «Полярной»-то!.. из «Полярной»!.. Послушайте, душечка Шишкин, – искренно и ласково примолвил он, хлопнув гимназиста по колену, – скажите-ка нам «Орла»! А? Не бойтесь! Ничего! Ведь между своими... никто не услышит... шпионов нет, кажись. Прелесть, господа, что за стихи, послушайте!.. Ну, Шишкин, валяйте!

– Да я... не помню... – слегка озираясь, отклонился юноша.

– Ну, вот вздор какой, «не помню»!.. На прошлой неделе читал же у меня в классе, а тут вдруг «не помню»!.. Э, батюшка, я не знал, что вы такой трус!

Последнее слово окончательно уже подожгло гимназиста. Он предварительно крикнул и прочел «Орла».

– Bravo! Bravo!.. молодец, – пискнул было Анцыфров и тихонько захлопал в ладоши.

Полояров в сосредоточенном молчании взял руку гимназиста и выразительно потряс ее.

Подвиляньский, успевший уже мигнуть, чтобы подали вторую бутылку, налил еще стакан юному декламатору, который и не замедлил порядочно из него отведать.

– А вот бы штука-то была, – с оживлением начал учитель, словно под наитием внезапно блеснувшей мысли, – если бы этого самого «Орла» да дернуть сегодня на публичном чтении?

– Bravo! bravo!.. Отлично! великолепно! – запищал и заерзал на стуле Анцыфров, подслеповато отыскивая свой налитый стакан.

– А что ж? Я бы прочел, да... выдерут, пожалуй? – сомневающимся тоном тихо спросил гимназист, уже полурешившись на эту выходку.

– Выдерут? – угрозливо насупился Полояров, – а во? этого не хотят ли? Пушай попробуют – вкусно ли пахнет!

– Ну-у, где выдрать! – солидно возразил учитель, – теперь и вообще-то не дерут, а тут еще ученик на выпуске. Разве так что-нибудь... в карцер посадят на недельку, и только.

– Так я хвачу!.. Ей-Богу, хвачу! – с живостью подхватил Шишкин, срываясь с места.

– Ну, вот вздор какой! Я ведь только так... – пошутил, отклонился учитель, все в том же солидном тоне.

– Отлично бы хватить, да не хватите! – вздохнул Анцыфров.

– Не хвачу? А почему... позвольте узнать... почему вы думаете, что не хвачу.

– Да так, смелости не хватит.

– Смелости?.. У меня-то? У Ивана-то Шишкина смелости не хватит? Ха-ха?! Мы в прошлом году, батюшка, французу бенефис целым классом задавали, так я в него, во-первых, жвачкой пустил прямо в рожу, а потом парик сдернул... Целых полторы недели в карцере сидел, на хлебе и на воде-с, а никого из товарищей не выдал. Вот Феликс Мартынович знает! – сослался он на Подвиляньского, – а вы говорите смелости не хватит!.. А вот хотите докажу, что хватит? Мне что? Мне все равно!

– Нет-с, тут, батюшка, не парик и не жвачка, – оппонировал пискун, – тут нечто побольше да посерьезнее, да и подоблестнее-с!.. Тут гражданское мужество нужно-с!

– А вот увидим, коли так! Увидим! – хорохорился гимназист, у которого голова ходенем пошла с двух стаканов шампанского.

– Ну, нет, не делайте глупостей! – стал было солидно урезонивать Подвиляньский, и эта солидность оказалась у него очень искусно сделанною, так что даже на посторонние глаза ее смело можно бы было принять за солидность настоящую и вполне искреннюю.

– Чего там не делайте! – обернулся на него Шишкин, – они меня за труса считают, так нет же, черт возьми! Я им докажу!

– Господин Шишкин! Господин Шишкин! – хлопотливо вбежал в комнату Петр Петрович. – Пожалуйста поскорее, ваш черед!

Шишкин бойко и самоуверенно вошел на эстраду. Полояров, Анцыфров и Подвиляньский с любопытством ожидания подошли к дверям и приготовились слушать.

– «Орел!» – раздался звучный голос декламатора. Анцыфров пискнул, хихикнул и даже присел от удовольствия.

– Молодец!.. Ей-Богу, молодец!.. Я никак не думал, – прошептал он.

По зале понеслись звучные строфы:

«Я нашел, друзья, нашел,
Кто виновник бестолковый

Наших бед и наших зол!
Виноват во всем гербовый,
Двуязычный, двухголовый
Всероссийский наш орел!»

И пошел, и пошел все дальше да дальше...

По зале понеслось волнение, шепот, недоумение; удивление, слушатели оглядывались друг на друга и вокруг себя, иные опасались за смелого чтеца, иные искали глазами, не слушает ли где-нибудь полиция...

Эффект вышел полный и неожиданный.

Лубянский побледнел и стоял, словно бы на него столбняк нашел. Взволнованный и перетревоженный, в страхе за чтеца, он искал глазами Пшецыньского, но того не было в зале. Полковник ограничился только присылкой премии, а сам не почтил вечера своим присутствием.

Но в сущности легче ли было от этого? Изменило ли его отсутствие хоть сколько-нибудь участь пьяного Шишкина? И едва кончил он, как раздался взрыв неистовых криков и топанья. Особенно отличались хоры, шумевшие по двум причинам: первая та, что читал свой брат гимназист, которого поэтому «нужно поддержать»; а вторая, читалось запрещенное – слово, вечно заключающее в себе что-то влекущее, обаятельное.

Большинство вопило «браво!» и требовало «bis!». Только немногие сохраняли необходимую сдержанность и приличие, и в числе этих немногих между прочим были доктор Адам Яроц и сам Подвиляньский, незаметно проскользнувший в залу. Теперь он старался держаться на глазах у всех и с видом серьезного равнодушия оглядывал неистовавшую часть публики.

Одурманенный вином и успехом, Шишкин шел уже на эстраду с тем, чтобы повторить «Орла», как вдруг из одного конца залы смело раздалось резкое шиканье.

Все обернулись в ту сторону. Там, приложив щитком руки к губам, что есть мочи шикал один только человек. И этот один, к удивлению многих, был Устинов.

– Молчать!.. Не шикать!.. Кому не нравится, так вон!.. Не мешайте слушать!.. Долой шикальщика!.. *A bas le siffleur!*⁴⁴ – с разных концов залы раздалось несколько ретивых, задорных голосов.

Устинов, не обращая внимания, продолжал свое дело.

К счастью, Шишкин не был допущен на эстраду. Майор удержал его за руку и почти насильно увел в «артистическую комнату».

– Что вы наделали!.. Господи! Что вы наделали! – в ужасе качал он головою, заслоня собою гимназисту проход в шумевшую залу.

– Вы думаете, выдерут? Не бойсь, не посмеют!.. В карцер разве, а это – нет! Пустите меня, публика требует! – порывался тот, стараясь выскользнуть из рук Лубянского.

А публика все еще шумела, стучала, хлопала... Скандал был полный и всесовершенный.

Частный пристав возвысил было голос, – несколько человек вытолкали его вон из залы и наглухо захлопнули входную дверь.

Майор был в отчаянии и поспешил выслать на эстраду двух барышень: поющую, и вопиющую, которые громогласным дуэтом хотели заглушить стук и крики. Некоторое время длилась борьба между пением и шумом, но храбрые и стойкие барышни преодолели публику – и она наконец снисходительно замолкла.

⁴⁴ Долой свистуна! (фр.).

Вечер кончился как-то странно. Одни выходили из залы в недоумении, другие, то есть большинство, весьма шумно. Там и сям, как последние выстрелы отступающих солдат, раздавались еще выкрики: «Шишкина!.. Орла! Bis!.. Bravo!.. Шишкина!»

– Это с какой стати вы шикать изволили? – дерзко-вызывающим тоном обратился к Устинову Полояров.

– С такой, что если раз уже сделана глупость, то не следует повторять ее! – решительно отчеканил Устинов, не смутясь от полояровского взгляда.

– А в чем эта глупость, по-вашему, и почему это не повторять ее, позвольте полюбопытствовать?

– Глупость в том, что она вредит хорошему почтенному делу, а повторение ее могло бы отозваться еще более горькими последствиями для Шишкина.

– Все это вздор! Никаких последствий не будет и быть не может! Тут голос общественного мнения-с!

– В таком разе напрасно сами вы не вышли вместо гимназиста и не прочли «Орла». Скажите, пожалуйста, отчего это вы пропустили такой прекрасный случай?

Последний вопрос был предложен с весьма чувствительною едкостью и попал прямо по назначению. Полоярову нечего было ответить и потому, промычав ироническое «гм!», он отвернулся от Устинова.

XIV

Кому досталось расхлебывать кашу

На другое утро к воротам майорского домика прискакал казак и привез Петру Петровичу повестку из губернаторской канцелярии.

Эта повестка вызывала его прибыть к его превосходительству в одиннадцать часов утра. Лаконизм извещения показался майору довольно зловещим. Он знал, он предчувствовал, по поводу чего будут с ним объяснения. И хуже всего для старика было то, что не видел он ни малейших резонов и оправданий всему этому делу.

Когда майор вступил в губернаторскую залу, там уже толкались кое-какие силы официального мира. Правитель канцелярии и несколько чиновников ожидали со своими докладами; лихой полицмейстер Гнут расхаживал с рапортом; дежурные – канцелярист и квартальный суетились около каких-то шнуровых разграфленных книг и сортировали только что полученные пакеты. Лихой Гнут попытался было мимоходом окинуть майора внушительно-строгим, соколиным взглядом; но того этот взгляд не смутил нимало. В своем мундире, тщательно вычищенном и щеткой, и метелкой, при всех регалиях, стоял майор у окна и с тайной смутой на сердце ожидал что-то будет.

Пробило одиннадцать, – губернатор не показывается.

Пришел черненький Шписс, небрежно мотнув головой на поклоны некоторых чиновников, фамильярно подал руку правителю канцелярии и приятельски заболтал с подполковником Гнутом о вчерашнем «рауте» графини. Пришли и еще двое чиновников по особым поручениям, из которых один обладал весьма либеральной бородой, либеральными усами, либеральной прической и либеральными панталонами. Он небрежно поигрывал стальной цепочкой от часов, которая изображала собою в некотором роде кандалы, с ядром и «мертвую голову». Либеральный чиновник желал обратить внимание присутствовавших на свою цепочку, и, действительно, лихой Гнут вскоре заметил ее:

– Посмотрите, господа, какая оригинальная цепочка!

И все кинулись рассматривать цепочку либерального чиновника. Один только ничему не причастный майор по-прежнему оставался у окна.

– Это – Жан-Вальжан, цепь каторжных галерников, – самодовольно пояснил чиновник, – совсем новая новинка! Только что получены.

– Где? где? скажите, пожалуйста! У кого это? – хором насели на него заинтересованные чиновники.

– В Сарептском магазине... Целая партия прислана.

– А! надо купить!.. непременно надо! Отличная штука!

И чиновники долго еще любовались Жан-Вальжаном своего либерального собрата.

Пробило половину двенадцатого – нейдет губернатор. Чиновники по особым поручениям либерально расхаживают по зале вместе с «правителем» и Гнутом, тогда как все почтительно дожидаются, не двигаясь с места.

Вот на минуту растворилась дверь, и вышел из нее, вполне серьезный, полковник Пшецыньский, представительно бряцая шпорами и поддетою на крючок саблей, причем кисточки его серебряных эполет болтались весьма эффектно. Он на ходу ответил любезным склонением головы на общий поклон чиновников и, с озабоченным видом, прошел в прихожую, мимо майора, которого хотя и видел, но будто не заметил.

Пробило двенадцать. Опять на минуту растворилась дверь, и губернаторский лакей пронес на подносе корзинку с хлебом, да два пустых стакана после кофе.

Либеральные чиновники продолжают расхаживать, болтая о «рауте», о madame Пруцко, о Людовике Наполеоне, об Шмитгоф, о какой-то статье в «Современнике», о вне-

запном повышении по службе какого-то Кузьмы Демьяновича, о новом рысаке Верхохлебова... и о многих иных, подобных предметах, о которых вообще и всегда, от нечего делать, болтают губернаторские чиновники в ожидании своего патрона.

Но вот раздался кабинетный звонок, и дежурный канцелярист, застегивая последнюю пуговицу вицмундира, со всех ног бросился на призыв его превосходительства. По прошествии некоторого времени он опять показался в зале и собственноручно открыл самым торжественным образом половину двери. Послышались веские шаги, с легким скрипом – и в дверях появился Непомук Анастасьевич Гржиб-Загржимбайло.

– Где? – лаконично произнес он, обратив вопросительный взгляд на дежурного.

Тот указал рукой на майора.

Губернатор, отдав всем общий поклон, вышел на середину залы и остановился. Он не позвал майора в кабинет, но нарочно хотел «распушить» его в зале при всех, дабы все видели непомуковскую строгость и высшую благонамеренность.

– Пожалуйте-ка сюда, господин Лубянский! – издала обратился он к Петру Петровичу тем официально-деревянными тоном, который не предвещал ничего доброго. Старик и чувствовал, и понимал, что во всяком случае ему решительно нечего говорить, нечего привести в свою защиту и оправдание, и потому он только произнес себе мысленно: «помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» и, по возможности, твердо и спокойно подошел к губернатору.

– Что это у вас такое произошло! – грозно загнул и засопел его превосходительство. – Воззвание к бунту!.. Демонстрации!.. Порицание правительственного принципа!.. И вы думаете, что я это потерплю? Вы думаете, что со мною можно безнаказанно такие шутки шутить?.. Да знаете ли, милостивый государь, что я вас административным порядком в двадцать четыре часа из города вон в Тобольскую упрячу!.. Вы у меня народ агитировать, молодежь развращать!.. Я вырву с корнем это гнусное семя!.. Стыдитесь! вы – старик, штаб-офицер; на вас эти кресты, эти медали – и вы... вы...

Последний незаслуженный упрек был слишком горек и обиден старому солдату. Он побледнел и задрожал от волнения.

– Ваше превосходительство... ваше превосходительство! – возвысил он голос, – в вашем положении оскорбить человека легко-с. Но... я за двух моих государей двадцать пять лет мой лоб и мою грудь подставлял... я одиннадцать ран имею-с, так не мне, на старости лет, подуськивать на бунты!

И повернувшись, он твердыми шагами пошел из комнаты.

– Стойте! – закричал ему вслед губернатор. Майор словно бы и не слышал.

– Стойте же, говорю я вам!.. Я еще не кончил... Остановите его.

Дежурный квартальный преградил ему выход.

Потухшие глаза майора вдруг сверкнули нестарческим огнем. Если бы полицейский офицер только дотронулся до него... было бы не хорошо. Петр Петрович на мгновение замедлился перед ним, словно бы соображая, на что ему решиться. Улыбающееся личико дочери вдруг мелькнуло в его воображении – и этот спасительный образ, к счастью, удержал его от многого...

– Потрудитесь вернуться... и выслушать! – кричал между тем Гржиб-Загржимбайло. Лубянский подошел к нему твердым шагом.

– Из уважения к вашим сединам, я не хочу лишить вас покоя и потому оставляю в городе, – продолжал Непомук уже гораздо сдержаннее. – Но за подобные вещи отдают, по крайней мере, под строгий надзор полиции... После этого я не имею права дозволить вам учить детей и не могу оставить школу в ваших руках. Но я не хочу также, чтобы бедные дети, которые ни в чем не виноваты, благодаря вам лишились того образования, которое уже они получали; поэтому я учреждаю над школой административный надзор, и вы потрудитесь

передать заведывание ею тому благонадежному лицу, которое будет мною назначено!.. Ему же передадите вы отчет и сумму от вчерашнего вечера. Теперь можете идти!

И он вежливым, но очень выразительным жестом указал на дверь майору.

Старик, почти не помня себя, вышел на улицу убитый, оскорбленный, уничтоженный и разом лишенный лучшего и заветнейшего дела своей тихой и честной старости.

XV

Конференция совета гимназии

Объявление, положенное на столе сборной учительской комнаты, извещало господ учителей об экстренном заседании совета гимназии, которое имеет быть сегодня, в два с половиною часа пополудни. Учителя более или менее знали уже, о чем пойдет речь на этом заседании.

В половине третьего, по окончании классов, когда гурьба гимназистов с гамом и шумом высыпала на улицу, учителя собрались в конференц-залу, по стенам которой стояли высокие шкафы с чучелами птиц и моделями зверей; на шкафах – глобусы и семь мудрецов греческих; на столах и в витринах около окон – электрические и пневматические машины, вольтов столб, архимедов винт, лейденские банки, минералогические и археологические коллекции. По середине залы стоял длинный стол, покрытый красным сукном, и вокруг него ряд кресел. На площадке, перед этой комнатой дожидалась чего-то бедно одетая старушка и молча, но с невыразимо-тоскливой мольбой во взоре провожала каждого входившего в дверь конференц-залы. Пока еще директор не занял председательского места, члены совета в группах разговаривали между собою. Устинов отозвал Подвиляньского в сторону и сказал ему тихо:

– Я надеюсь, Феликс Мартынович, вы употребите все усилия, все старания, чтобы облегчить участь Шишкина... Это – долг вашей совести, Феликс Мартынович! – прибавил он с удобопонятною для Подвиляньского выразительностью.

– Конечно... все, что могу... – процедил тот сквозь зубы. Раздался призывный колокольчик – и учителя заняли свои места.

– Предварительно обсуждения главного вопроса нынешней конференции, – начал директор, видимо стремившийся усвоить себе парламентские формы, – я должен сообщить вам, милостивые государи, вот что: сегодня приглашал меня к себе его превосходительство Непомук Анастасьевич для совместного обсуждения весьма важного вопроса о воскресной школе. После всего происшедшего во вчерашний вечер его превосходительство полагает совершенно невозможным оставить заведывание школой в руках майора Лубянского, ни дозволить ему дальнейшее преподавание. Это крайнее и последнее решение. Его превосходительство намерен предложить администрацию и наблюдение за ходом преподавания в школе господину Подвиляньскому и спрашивал меня о благонадежности Феликса Мартыныча в политическом и нравственном отношении. Я, с своей стороны, конечно, мог дать только самый лестный отзыв.

Подвиляньский при этом слегка поклонился с скромной улыбкой благодарности.

– Что касается меня, – продолжал директор, – я не нашел ничего против предложения его превосходительства и в принципе совершенно соглашаюсь с ним. Остается только узнать на этот счет решение самого Феликса Мартыныча, и если Феликс Мартыныч согласен, то...

– Я соглашаюсь, – подхватил Подвиляньский. – Конечно... у меня есть много занятий, но... для пользы такого дела... просвещение народа – вы сами, конечно, понимаете... я не считаю себя вправе отказаться.

– В таком случае я извещу об этом Непомука Анастасьича, а вы потрудитесь завтра утром отправиться к его превосходительству, и он сообщит вам некоторые инструкции.

Феликс Мартынович поклонился вторично в знак полного и покорного своего согласия.

– Как!.. Позвольте-с? – поднялся с места озадаченный и даже ошеломленный Устинов; – но ведь эта школа – дело совершенно частное; какое же тут вмешательство...

– Разрешение на школу дано все-таки администрацией, – решительно перебил директор, – и если направление преподавания или дух школы идет вразрез с правительственными видами, администрация всегда имеет полное право...

– Но ведь надо же сперва узнать, надо исследовать, по крайней мере, все дело! Ведь так нельзя же! Ведь это что ж такое, наконец!!... Вредный дух школы – да Господи Боже мой! взгляните прежде...

– Я ничего не знаю; это касается администрации; можете к ней адресоваться, – настойчиво прервал директор Устинова. – Администрация во вчерашнем происшествии имеет налицо достаточно красноречивый факт, против которого я не нахожу возможности спорить, и если заговорил об этом, то для того только, чтобы передать Феликсу Мартынычу решение, до него лично касающееся. Засим дебаты об этом предмете я считаю оконченными и предлагаю перейти к главному нашему вопросу.

Будто почувствовав важность этой минуты, все как-то подбодрились, оправились, подвинули ближе к столу свои кресла и приготовились слушать.

– Вам, милостивые государи, – начал директор, вздохнув с печально важным видом, – известно уже вчерашнее грустное происшествие; поэтому я избавлю себя от прискорбного труда повторять вам сущность его. Все вы и без того хорошо знаете дело. Антон Антоныч, – обратился он к инспектору, – как распорядились вы с Шишкиным?

– С утра еще посажен в карцер, на хлеб и на воду.

– Это хорошо-с. Теперь, господа, вашему обсуждению предлежит вопрос: что сделать с ним? Господин Шепфенгаузен, вы, как младший, потрудитесь изложить нам ваше мнение, – отнесся председатель к учителю чистописания, черчения и рисования.

– С большинства загля-асен, – сгибая коленки и оскалая глупой улыбкой свою лошадиную челюсть, приподнялся скромный и немногословный господин Шепфенгаузен.

– Очень хорошо-с. Господин Краузе?

– Висекать и вигонать, – решил учитель немецкого языка.

– Очень хорошо-с. Monsieur Фуше! Votre opinion.

– Oh, oui! розг, et cachôt, et вигани-и... et tout! ce que vous voulez! О, с'est un grand gaillard ce Chichkin là..⁴⁵ Эти сквэрн малышишк! Tout, ce que vous voulez, monsieur le directeur! et вигани, et cactôt, et розг – voilà mon opinion!⁴⁶ – жестикулировал учитель французского языка, который точил против Шишкина старый зуб еще за прошлогодний бенефис с жвачкой и сдернутым париком.

– Очень хорошо-с. Не угодно ли вам, господин Подвиляньский?

– С большинством согласен, – уклончиво ответил учитель латинского языка.

– То есть, позвольте-с! как же это с большинством? – сказал Устинов, в упор и строго глядя в глаза ему; – до сих пор большинство за розги и исключение? И вы тоже на стороне большинства?

– Господин Фуше имеет свои основания подать мнение этого рода, – опять-таки уклонился Подвиляньский, обращаясь не к Устинову, но ко всем вообще. – Я прошу позволения напомнить совету, что прошлого года этот самый Шишкин высидел полторы недели в карцере за грубые дерзости, которые он позволил себе относительно господина Фуше.

– Я нахожу, что напоминание ваше едва ли уместно, – покраснев от негодования, сдержанно проговорил Устинов. – Были другие, которые были виноваты гораздо более Шишкина, но Шишкин не захотел выдать товарищей и на самом себе понес все наказание. Я нахожу, что это черта весьма благородная.

⁴⁵ О, да! Розг, и в карцер, и вигани-и... и все, что вам угодно! О, он большой шутник, этот Чичкин!.. (фр.).

⁴⁶ Все, что вам угодно, господин директор! И вигани, и карцер, и розги – вот мое мнение! (фр.).

– Итак, Феликс Мартынович, ваше мнение? – обратился председатель к Подвилянскому.

– Остаюсь при прежнем, – коротко поклонился тот.

Устинов поглядел на него честными, изумленными глазами.

– Вы что скажете, Андрей Павлович? – повернулся директор к Устинову.

– Я скажу одно, – поднялся маленький математик, – пощадите, господа, молодого человека!.. Если у вас есть в сердце хоть капелька человеческой крови – пощадите его! Он виноват – не спорю. Ну, выдержите его в карцере, сколько вам будет угодно; ну, лишите его домашних отпусков до конца курса; ну, постарайтесь представить перед собранием товарищей весь позор, всю глупость его проступка; но только, Бога ради, не выгоняйте его!

– Это будет весьма недостаточное наказание: поступок его заражает большинство весьма дурным примером, – заметил инспектор.

– Эх, Антон Антонович! – возразил Устинов. – Видно, что своих детей у вас нет и никогда не было!.. Как это все легко говорится!.. Ведь Шишкин способнейшая, даровитая голова! Ведь он у нас который год первым учеником идет! Ну, натура у него немножко широкая, русская, увлекающаяся натура, но ведь он честный юноша! Ведь ему через два месяца курс кончать, из гимназии выходить, а вы вдруг хотите лишить его всего, – всего, за одну глупость, которую вдобавок и сделал-то он, как я не без основания подозреваю, по чужому внушению.

Подвилянский, при этих словах, отчасти изменился в лице и стал сосредоточенно обмахивать обшлаг своего вицмундира, словно бы в нем засела какая-то упрямая пылинка.

– Господа! – продолжал Устинов, – здесь, за дверью, как жизни или смерти, ожидает вашего решения несчастная старуха-мать этого Шишкина. Ведь вся ее радость, единственная надежда, единственный кусок хлеба на старости лет... Пощадите же Христа ради!

– Для чего же вы сами шикали вчера! – ехидственно спросил Подвилянский.

Устинов, прежде чем ответить, посмотрел на него холодно-презрительными и строгими глазами.

– А я вас спрошу, – начал он веско и размеренно: – для чего вы подуськивали его?

– Как!.. Позвольте, милостивый государь. Где? Когда я подуськивал его! – горячо сорвался с места Феликс Мартынович. – Я?.. Я, напротив, удерживал, отговаривал его, у меня есть свидетели, очевидцы... Я представлю доказательства!.. Я не позволю никому оскорблять меня таким образом! Я не могу допустить, чтобы так нагло клеветали на мою благонамеренность!.. Это уже называется подкопами...

– Обвинение столь важно, – перебил председатель, – что я полагаю лучше допросить об этом первоначально самого Шишкина... Пусть он нам скажет, внушал ли ему кто или нет. Антон Антонович, распорядитесь, пожалуйста, чтобы привели его сюда из карцера.

Через несколько минут подсудимый стоял перед ареопагом своих наставников и воспитателей. Едва успел он войти, как Подвилянский, упреждая возможность первого вопроса со стороны директора, к которому арестант, естественно, не мог быть подготовлен, стремительно поднялся вдруг с кресла и с особенною торопливостью обратился к гимназисту:

– Господин Шишкин! Как *честный человек*, скажите откровенно, останавливал ли я вас, чтобы вы не делали этой глупости? Скажите по совести!

Шишкин поглядел на него пристально и твердо ответил:

– Да; говорили... Останавливали.

Подвилянский с гордым презрением вымерял торжествующим взглядом Устинова.

– Повремените немного! – сказал ему последний, очень хорошо поняв значение этого безмолвного торжества. – Господин Шишкин! Я не хочу допустить мысли, чтобы вы сделали ваш проступок без чьего-нибудь постороннего побуждения. Скажите откровенно, кто

подуськал вас на это? Или как, по крайней мере, вследствие чего пришла вам эта несчастная мысль прочесть «Орла»?

Подвиляньский опять почувствовал маленькую неловкость и опять было прибегнул к старательному обтиранию обшлага; но из этого беспокойного положения, к счастью, вывел его преподаватель географии Бенедикт Кулькевич.

Шишкин еще не собрался ответить, как уже раздался голос этого Бенедикта.

– Я полагаю, – начал он, – вопрос господина Устинова не совсем уместен; мы здесь, во-первых, не следственная по политическим делам комиссия...

Последняя фраза была сказана с такою едкою иронией, которая прямо била на то, чтобы подействовать на щекотливую струнку самолюбия членов.

– Да, но мы здесь тем не менее решаем судьбу молодого человека! – горячо перебил его Устинов.

– Во-вторых, – продолжал Кулькевич, не обратив внимания на это возражение, – мне кажется, что такой вопрос даже оскорбителен для самого господина Шишкина. – По крайней мере, если б я был на его месте, я бы оскорбился за мое самолюбие: господин Устинов как будто предполагает в господине Шишкине совсем глупенького неразумного ребенка, мальчишку, дурачка, которого так вот вдруг можно взять да и подуськать на что-либо; как будто господин Шишкин недостаточно взрослый и самостоятельный юноша, чтобы действовать по собственной инициативе? Впрочем, это только мое личное мнение; может, кто и «подуськивал» его, я не знаю. Об этом он сам, конечно, лучше знает.

Сказано все это было как нельзя более кстати, и расчет оказался верен. Шишкин, как один из лучших и притом бойких учеников, естественно, был самолюбив. Кулькевич знал за ним это качество и его-то именно решился задеть в нужную минуту. Восемнадцатилетний юноша переживал то время, когда школьнический гимназический мундир становится уже тесен, мал и узок на человеке, когда самолюбие тянет человека на каждом шагу заявить себя взрослым, когда он, так сказать, борьбою добывает себе эту привилегию на взрослость в глазах тех, которые продолжают еще считать его мальчишкой и школьником.

– Меня никто не уськал... Я сам читал, по своему побуждению, – с достоинством проговорил юноша. Честный малый – он даже был убежден в эту минуту, что свершает некий подвиг гражданского мужества.

– Хорошо-с, можете отправляться обратно в карцер! – сухо ответил ему на это директор.

Когда арестант удалился, Подвиляньский, весь пылая чувством гордого и удовлетворенного достоинства, смело и твердо поднялся с места.

– Господа! – возвысил он голос, – после того, что сказано здесь самим Шишкиным, я не считаю нужным отвечать на обвинение господина Устинова: пускай он сам назовет его достойным именем.

– Я остаюсь при прежнем своем мнении, – стойко и не смутясь ответил Устинов, – и только прибавлю к нему одно, что *легально* вы остались совершенно правы, с чем вас и поздравляю.

– Так после же этого!! – запальчиво вскочил было Феликс Мартынович, но председатель прекратил их прение настойчивым призывом к порядку и продолжал отбирать мнения членов совета.

Большинство трех голосов оказалось на стороне исключения. Два из них принадлежали самому председателю, который некоторое время колебался было, отдать ли эти два голоса в пользу устиновского предложения или в пользу его противников, но из столь затруднительного колебания вывел его опять-таки все тот же находчивый и предусмотрительный Феликс Мартынович Подвиляньский.

– Господа, – сказал он с видом величайшей искренности, положив руку на сердце. – Верьте моей совести, я от души рад бы был сделать все возможное, лишь бы только облегчить участь молодого человека, я вполне сочувствую господину Устинову и прочим, которые подали голоса против исключения, но, господа!.. все это вполне бесполезно! Проступок Шишкина не такого рода, чтобы администрация оставила его без внимания: доказательство – сегодняшнее решение господина губернатора. Они уже знают об этом! Если мы не исключим Шишкина, его все-таки заберет в свои лапы жандармерия и, стало быть, все-таки, *volens-polens*⁴⁷, он будет исключен, а мы, между тем, можем подвергнуться со стороны министерства серьезному замечанию в потворстве... заподозрят благонамеренность нашего направления – и что ж из того выйдет? Какая польза, я вас спрашиваю? Ни себе, ни ему! Лучше же умыть руки, сделать достоподобное и – дальнейшее предоставить администрации: как там себе хотят, так пусть и делают, абы мы в стороне были!

Этот взгляд, бесспорно, имел на своей стороне много эгоистически-успокоительного и, стало быть, весьма подкупающего, а потому председатель и отдал свой голоса в пользу исключения.

Конференция окончилась. Члены совета оставляли залу и выходили на ту площадку, где ожидала скромно одетая старушка.

Едва показался инспектор, как она, в величайшем напряжении ожидания, в борьбе между страхом и надеждой, молча, но с выразительным вопросом в глазах и во всем лице своем подступила к Антону Антоновичу.

– К сожалению, ничем не могу утешить вас, сударыня! – грустно пожал он плечами: – большинством голосов ваш сын присужден к исключению из гимназии. Завтра утром можете явиться за его бумагами.

Старуха страшно побледнела, нижняя челюсть ее вдруг как-то бессильно отвалилась от верхней, подбородок заметно запрыгал, задрожал, и сама она вся затряслась, да как стояла, так и хлопнулась на месте о каменные плиты помоста.

– Господин Подвиляньский! – с силой схватил вдруг Феликса за руку взволнованный Устинов.

Он говорил с трудом, почти задыхаясь. В его зрачках сверкало вдохновение бешенства. Феликс оробел и попятился.

– Господин Подвиляньский, – повторил он, все крепче сжимая его руку между локтем и кистью, – вы... вы подлец!

Это страшное слово было громко и смело брошено ему в лицо в присутствии всех сосоварищей по службе, и после этого слова Устинов с презрением, даже более, с омерзением, словно от какой-нибудь холодной и склизкой гадины, отдернул от него свою руку.

– Господа!.. господа!.. вы слышали? – взволнованно забормотал потерявшийся учитель. – Я этого не могу так оставить... Мое имя... моя честь... Я требую сатисфакции!.. Сатисфакции!

– К вашим услугам! – сходя со ступенек, и, по-видимому, уже спокойно, с полным самообладанием, обернувшись к Феликсу, поклонился Устинов.

⁴⁷ Волей-неволей (лат.).

XVI Вызов

Скромно пообедав обычным образом за четвертак в кухмистерской на Московской улице, но невольно найдя все три блюда какими-то пресными, безвкусными, Андрей Павлович Устинов отправился восвояси напиться чаю да отдохнуть часок-другой пока до вечера. После давешней крутой сцены он чувствовал какую-то усталость, какой-то упадок в груди; весь он как-то был утомлен, разбит, словно бы после длинного перехода или после непомерно долгой верховой езды, но только это была усталость и разбитость не совсем физическая, а более моральная, душевная, – ощущения, которые, впрочем, почти всегда сопровождают и сильную усталость физическую. Организм просил сна, покоя, отдохновения, потому что экстаз бешенства непременно обессиливает человека.

Послеобеденное время было обыкновенною порою, когда Хвалынцев заходил поболтать к Устинову. Так уж делал он раза три или четыре. Подходя к дому, учитель и сегодня почти у самых ворот столкнулся со старым своим приятелем. Нынче он обрадовался ему более, чем когда-либо: для человека очень часто есть томительная потребность поделиться с другою сочувствующею душою своими чересчур уж сильными ощущениями и мыслями, которые переполняют вместилище его внутреннего мира. Тем отраднее потом, после этого влияния, будет отдохновение, несущее с собою мир и покой душевный.

Но не успели приятели распить по стакану чая и не успел еще Устинов окончить свой рассказ, как в дверь его постучались.

– Войдите, – пригласил учитель с недовольной миной. Вошел Полояров вместе с Анцыфровым, и оба, не снимая ни пальто, ни галош, подошли к Андрею Павловичу.

– Мы к вам от Подвиляньского, – тотчас же начал Ардальон, не садясь по приглашению, но опираясь на свою дубину, – и предворяю, по весьма нелепому поручению, которому я, по моим принципам, нисколько не сочувствую, но не отказался единственно из дружбы. Он вас вызывает на дуэль, а мы вот секунданты его.

И проговорив это, Полояров засмеялся, словно бы сказал или услышал самую наивную глупость.

Устинов тоже слегка улыбнулся и, в ожидании, что из этого воспоследует далее, слегка поклонился.

– Ну-с? – проговорил он, видя, что Полояров, как-то переминаясь, комкает свою серую шляпу.

– Да что «ну-с»... «Ну-с» по-немецки значит орех! А я нахожу, что все это глупость! Какая тут дуэль? По-моему, просто: коли повздорили друг с другом, ну возьми друг друга да и потузи сколько душе твоей угодно!.. Кто поколотил, тот, значит, и прав!.. А то что такое дуэль, я вас спрашиваю? Средневековый, феодально-аристократический обычай! Ну, и к черту бы его!.. Но в этом в Подвиляньском все-таки этот гонор еще шляхетский сидит, традиции, знаете, и прочее... Так вот, угодно, что ли, вам драться?

Устинов пожал плечами.

– Может быть, оно и очень глупо, – отвечал он с усмешкой, – и спорить об этом мы с вами, конечно, не станем, но... если меня вызывают, я не считаю себя вправе отказаться, чтобы не подать повод, хотя бы даже и господину Подвиляньскому, обозвать меня малодушным трусом. Передайте ему, господа, что я согласен.

Это неожиданное согласие, видимо, озадачило обоих секундантов: они словно бы и не ожидали получить его.

– Подвиляньский, впрочем, требует, – торопливо вмешался пискунок Анцыфров, – чтобы вы при всех учителях извинились перед ним и взяли назад свои слова. Он только в

крайности, ежели бы вы не согласились на это, предлагает вам дуэль... В противном случае, он поручил передать вам, что он найдет свою собственную расправу.

Учитель вспыхнул от негодования.

– Ну, я хоть и мал да крепок, – возразил он весьма внушительным тоном, – и меня застрашивать да запугивать нечего! Расправа, о которой вы говорите, будет для господина Подвиляньского пожалуй что поубыточнее, чем для меня! Но... я, во всяком случае, извиняться не стану, и сколь ни находит это глупым господин Полояров, предпочитаю дуэль и принимаю ваш вызов.

Оба приятеля опять на некоторое время остались вполне озадачены таким решительным поворотом дела и не то недоумело, не то совещательно переглянулись между собою.

– Когда же вы намерены драться? – спросил Ардальон после минутного раздумья.

– Это совершенно все равно. Когда ему будет угодно.

– Он хотел бы завтра утром, так, часов в восемь.

– Ну, в восемь так в восемь, я ничего не имею против.

– А на чем вы воевать желаете?

– И это точно так же совершенно все равно для меня: я ни на чем не умею.

– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-а! Эх, вы, воители!.. Как же это так-то?.. Ну, не лучше ли же по-моему на кулачьях?.. Ха-ха-ха!..

– Впрочем, Подвиляньский желал бы лучше на пистолетах, – опять вмешался пискун не без некоторой многозначительности в тоне. – Вы как на этот счет думаете, господин Устинов?

– Ну, на пистолетах так на пистолетах.

– И будете стрелять? – недоверчиво, но шутливо спросил Полояров.

– Вас, конечно, не попрошу за себя.

– Ха-ха-ха!.. Да я и не пошел бы. Нашли дурака!.. И то уж и в секунданты-то так только, по дружбе. Ну, а кто же у вас секундантом-то будет?

– Я буду, – отозвался Хвалынцев.

– Вы?.. Ну, очень приятно!.. Значит, по крайности, выпивку после того хорошую устроим, ась?

– Нет, уж пить вместе с господином Подвиляньским мы не станем, – сухо и резко возразил Устинов. – Довольно с него и этой чести, что я не отказываюсь от его вызова.

– Ну, ладно! – была бы честь предложена, а от убытка Бог избавил! Так так-то-с? Значит, воюем? Ну-с, а вы, господин секундант, заезжайте ко мне, либо я к вам зайду, – прощаясь обратился Полояров к Хвалынцеву; – надо ведь еще насчет места условиться.

Студент обещал заехать в девять часов вечера, и секунданты Феликса Мартыновича удалились.

– Как тебе нравится еще эта милая выходка? – обратился, по уходе их, учитель к своему приятелю.

– Ничего из этого не выйдет! – с полной уверенностью отвечал тот; – просто-напросто запугать хотел.

– Ну, не на таковского напал, дружок!.. Я, признаться, с первого же слова почувствовал это. Однако, что ж теперь делать? – в недоумении пожал плечами учитель, – ведь вся эта штука очень сильно глупостью пахнет.

– Так-то оно так, – согласился Хвалынцев, – и потому-то вот до времени ровно ничего не следует делать. погоди, вот в девять часов я поеду к нему, тогда поглядим, а теперь ложись-ка спать; тебе успокоиться надо.

Устинов охотно последовал совету старого товарища и, проводив его от себя, завалился на свою кушетку. Не прошло еще и пяти минут, как он уже храпел глубоким и темным сном сильно усталого человека.

XVII

В ожидании роковой минуты

– Ну, брат Андрюша, вставай! просыпайся! – разбудил учителя Хвалынцев, вернувшись к нему в половине десятого: – дело всерьез пошло!.. Как ни глупо, а драться, кажись, и взаправду придется.

– Был у Полоярова? – протирая глаза, потянулся и зевнул Устинов.

– Сейчас только оттуда. Деретесь завтра, как назначено, в восемь часов, в овраге... знаешь, там, в этой роще за Духовым монастырем.

– Ну что ж, в овраге так в овраге! И прекрасное дело! – с напускным равнодушием сказал учитель, подымаясь с постели. В сущности же в эту минуту нечто жуткое слегка стало похватывать его за душу.

– Стало быть, не отказывается? – вопросительно остановился он пред Хвалынцевым.

– Куда тебе!.. – махнул тот рукою, – говорят, теперь и слышать не хочет! У них уже там и пистолеты приготовлены: достали откуда-то. Анцыфров так и старается около них!

Легкая усмешка, выразившая не то полупрезрение, не то полуравнодушие, покривила чуть-чуть губы учителя.

– Ну, и пускай!.. Ну, и черт с ними! – пробурчал он, принимаясь шагать по комнате.

Около четверти часа прошло в совершенном молчании, Хвалынцев сидел и барабанил ногтями по столу, а Устинов все еще продолжал расхаживать, и только время от времени та же самая полупрезрительная, полуравнодушная усмешка появлялась на его губах. Порою самому ему казалось, будто он совершенно равнодушен ко всему, что бы ни случилось, и, действительно, в эти мгновения на него вдруг наплывало какое-то полнейшее, абсолютное равнодушие; а порою это жуткое нечто, этот невольный инстинкт молодости, жизни, самозащиты опять-таки нойно хватал и щемил его сердце. В эти-то последние минуты на губах его и появлялась та принужденная усмешка, посредством которой силился он если не прогнать и рассеять, то хоть не выдать свои ощущения.

– Послушай, – прервал наконец Хвалынцев это молчание, и от внезапного звука его голоса Устинов как-то чутко вздрогнул, – ты совсем-таки не умеешь стрелять?

– Всесовершеннейше не умею.

– Гм!.. Это не удобно!.. Но зачем же, в таком случае, ты не отказался? Ведь выбор оружия на твоей стороне.

– Э, Боже мой! Да не все ли равно? Ведь я ж говорю тебе, что ни на чем не умею... Разве только «на кулачках», как говорил Полояров, да и на тех не пробовал.

Опять на некоторое время сосредоточенное молчание сменило кратковременный разговор их.

– А вот что было бы не дурно! – придумал студент по прошествии некоторого времени. – У меня там, в номере, есть с собою револьвер, так мы вот что: завтра утром встанем-ка пораньше да отправимся хоть в ту же рощу... Я тебе покажу, как стрелять, как целить... все же таки лучше; хоть несколько выстрелов предварительно сделаешь, все же наука!

Устинов махнул рукой.

– Чего ты махаешь?

– Не стоит, мой ангел, ей-Богу, не стоит! – промолвил он с равнодушной гримасой; – ведь уж коли всю жизнь не брал пистолета в руки, так с одного урока все равно не научишься. Да и притом же... мне так сдается... что в человека целить совсем не то, что в мишень, хоть бы этот человек был даже и Феликс Подвиляньский, а все-таки...

Хвалынцев молча согласился с этим мнением.

– А ты вот что, – предложил ему учитель, – коли хочешь, так оставайся ночевать у меня, я тебе в той комнате свою постель уступлю, а сам на кушетке... А завтра встанем пораньше и отправимся. Идет, что ли?

Студент согласился, и кое-как скоротали они остаток вечера. Устинов взялся за книгу. Хвалынцеву тоже попался какой-то истрепанный номер «Современника», и они принялись за чтение, изредка перекидываясь между собою кой-какими незначащими фразами и замечаниями. Разговор в этот вечер вообще как-то не клеился между ними. Наконец, студент пожелал учителю спокойной ночи и удалился в его спальню, а тот меж тем долго и долго еще сидел над своей книгой; только читалось ему нынче что-то плохо и больно уж рассеянно, хотя он всеми силами напрягал себя, чтобы посторонней книгой отвлечь от завтрашнего дня свои не совсем-то веселые мысли.

Поутру он проснулся первым, умылся, оделся и совсем бодро и даже довольно весело пошел будить Хвалынцева, объявляя ему, что уж половина седьмого и самовар уже подан.

Хвалынцев быстро, на босую ногу, вскочил с постели, взял за плечи учителя и, повернув его к свету, стал вглядываться в лицо ему.

– Чего ты смотришь? – удивился тот.

– Ничего... Молодец! Как и быть надлежит! Одним словом, свеж и душист! и дух бодр, и плоть не немощна, так и следует! Са іга! са іга!⁴⁸ – весело подпел он в заключение, предполагая, что его веселость поддержит в товарище достодолжную твердость и необходимое спокойствие духа. В несколько минут он был уже одет, и приятели уселись за чай.

– Однако распорядился ли ты? – озабоченно спросил студент.

– То есть, что это? Насчет извозчика? Найдем!

– Какой там «извозчик»!.. Я спрашиваю... ведь всяко может случиться... почему знать!..

– То есть коли подстрелят?

– Ну, хоть и так!

– Так что ж такое?

– Ну, все ж таки... письмо к кому какое... завещание там, что ли... родные, может...

Устинов искренно рассмеялся.

– Эка, о чем заботится... А мне и невдомек! Нет, ангел мой, – вздохнул он, – писать мне не к кому, завещать нечего... ведь я, что называется, «бедна, красна сирота, веселого живота»; плакать, стало быть, некому будет... А есть кое-какие долгишки пустячные, рублей на сорок; там в бумажнике записано... счет есть. Ну, так ежели что, продай вот вещи да книги, да жалованья там есть еще за полмесяца, и буду я, значит, квит!

– А больше ничего? – пытливо взглянул на него Хвалынцев.

– Больше?... Да что больше-то? Больше ничего. Кланяйся хорошим людям... Татьяне Николаевне кланяйся, – прибавил учитель как-то застенчиво и словно бы нехотя.

Хвалынцев бросил на него быстрый и скользкий взгляд еще пытливее прежнего; ему почуялось, что в голосе приятеля дрогнула, при этих последних словах, какая-то нотка, более нервная и теплая, чем та, которую могло бы вызвать чувство одной только простой дружбы.

– Да, впрочем, признаться сказать, – промолвил Устинов, – я и сам не знаю почему, только совсем не рассчитываю нынче быть убитым. Вчера казалось, будто и да, а выспался – как рукой сняло!

– А что, и в самом деле, – схватился с места студент, – как вдруг этот Подвилянський возьмет да и не придет на дуэль-то? Вот будет штука-то!

– Ну, уж это было бы глупее всего. Мы-то тогда уж совсем дураков из себя разыграем, добрым людям на потеху. Впрочем, нет, – уверенно прибавил Устинов, – не думаю, он хоть и мерзавец, а этого не сделает.

⁴⁸ Пойдет! Пойдет! (фр.).

В это время кто-то постучался в двери. Приятели изумленно переглянулись: «кто бы мог быть в такую пору столь ранним посетителем?»

Вдруг, к удивлению их, вошли вчерашние секунденты.

– Что же, господа, вы за нами, что ли, – пошел к ним навстречу Хвалынцев. – А мы думали встретиться с вами там?

– Нет-с, мы там не встретимся, – сухо и вскользь поклонился Полояров, не подавая руки.

– Господин Устинов! – самым официальным образом обратился он к Андрею Павловичу. – Наш друг, Подвиляньский, поручил передать вам, что после всего того, что мы узнали об вас вчера самым положительнейшим образом, он с вами не дерется: порядочный и честный человек не может драться со шпионом Третьего отделения. И оскорбление ваше, значит, само себя херит!

Ошеломленный Устинов не успел еще опомниться и прийти в себя, как Полояров со своим спутником уже удалились самым поспешным образом. В этой поспешности, конечно, немалую роль играло серьезное опасение за несокрушимость своих шей, боков и физиономий.

Хвалынцев раньше его собрался с мыслями после столь неожиданного поражения и, как сидел на кушетке, так и покатился со смеху.

– Чему ты заливаешься?

– Ха, ха, ха, ха, ха!.. Вот тебе и шляхетский гонор!.. Вот тебе и бретер!.. Ха, ха, ха!.. Однако выкинул же, бестия, штуку!.. Увернулся!.. Находчиво, нечего сказать, весьма находчиво!.. Ах, какой же это мерзавец, однако!..

– Н-да! – с раздумчивой усмешкой проговорил Устинов. – Вот тут и вспомнишь невольню Александра Сергеевича Пушкина: «Вы храбры на словах, попробуйте ж на деле»... Однако... что ж это, в самом деле!.. Уж и шпионом... Тьфу ты! Какая гнусная мерзость! – с презрительным отвращением сплюнул он в сторону.

XVIII

Au profit de nos pauvres ⁴⁹,

СПЕКТАКЛЬ БЛАГОРОДНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ с живыми картинами

Ее превосходительство madame Гржиб-Загржимбайло все время, пока длились рассказанные нами происшествия, была в больших хлопотах и заботах. Пикник на картинном берегу Волги, бал и спектакль благородных любителей – вот сколько важных и многообразных вещей надлежало устроить ее превосходительству, создать их силою своего ума, вдохновить своей фантазией, осветить своим участием и сочувствием, провести в общество и ходко двинуть все дело своим желанием, своим «я так хочу». Madame Гржиб разочла, что лучше всего начать благородным спектаклем, продолжить пикником и завершить балом, и таковой план явился у нее плодом известного рода стратегических соображений. В спектакле она успеет поразить дорогого гостя разнообразием своих блестящих талантов и прелестями своей наружности, которые предстанут пред ним в эффект нескольких положений и костюмов. Ко времени пикника сердце барона, пораженное эффектом прелестей и талантов огненной генеральши, будет уже достаточно тронуто, для того чтоб искать романа; стало быть, свобода пикника, прелестный вечер (а вечер непременно должен быть прелестным), дивная природа и все прочие аксессуары непременно должны будут и барона и генеральшу привести в особенное расположение духа, настроить на лад сентиментальной поэзии, и они в многозначительном разговоре (а разговор тоже непременно должен быть многозначительным), который будет состоять большею частию из намеков, взглядов, интересных недомолвок etc., доставят себе несколько счастливых, романтических минут, о которых оба потом будут вспоминать с удовольствием, прибавляя при этом со вздохом:

«А счастье было так возможно,
Так близко...»

Отношения их, без всякого сомнения, останутся в области чистого платонизма – так, по крайней мере, предполагала сама Констанция Александровна. Наконец, все эти удовольствия достойно увенчаются балом, который, так сказать, добьет милого неприятеля, ибо на бал madame Гржиб явится в блестящем ореоле своей красоты, прелестей, грации, своих брюсселей и своих брильянтов – и блистательный гость расстанется с городом Славнобубенском, а главное, с нею, с самой представительницей этого города, вконец очарованным, восхищенным и... как он станет потом там, в высоких сферах Петербурга, восторженно рассказывать о том, какой мудрый администратор Непомук Гржиб и что за дивная женщина сама madame Гржиб, и как она оживляет и освещает собою темные трущобы славнобубенского общества, как умеет благотворить, заботиться о «своих бедных» и пр. и пр.

Весь Славнобубенск встрепенулся и оживился при вести о благородном спектакле, а в Славнобубенске вести разлетаются с непомерною быстротою. Все эти mesdames Чапыжникова, Ярыжникова, Пруцко и Фелисата Егоровна, Нина Францевна и Петровы, и Ершовы, и Сидоровы переполошились и засуетились, и забегали друг к дружке, к каждой порознь и ко всем вообще, словно посыпанные бурой тараканы. Но более всех растревожился шестерик княжон Почечуй-Чухломинских, которых острослов и философ Подхалютин довольно метко прозвал княжнами Тугоуховскими. Известно, что ни один губернский город, не обходящийся без своего местного острослова, не может обойтись и без своих собственных кня-

⁴⁹ В пользу наших бедняков (фр.).

жон Тугоуховских. Княжны Тугоуховские необходимо должны быть в каждом добропорядочном губернском городе Российской империи, и притом в количестве не менее шести. У княжон необходимо есть князь-рара и княгиня-татап; был у них и князь-дедушка, которого они знают только по закоптелому фамильному портрету и который был очень богат и очень знатен, но жизнь вел чересчур уже на широкую ногу и потому оставил князю-рара очень маленькое наследство, а князь-рара, служивший некогда в гусарах, постарался наследство это сделать еще менее, так что шестерик княжон, в сущности, причитается к лику бедных невест, и две старшие княжны наверно уже на всю свою жизнь останутся невестами неневестными. Но, в силу своего княжеского титула, они всегда стараются держаться около высших властей губернских и составляют «высшее общество»; и каждый губернатор, каждый предводитель считает как бы своей священной обязанностью доставлять княжнам скромные развлечения, приглашать их в свою ложу и на свои вечера; причем княжон привозят и отвозят в карете того, кто пригласил их, потому что у князя-рара нет своей кареты. По скромности состояния княжны Тугоуховские не могут жить в Москве (о Петербурге нечего уж и говорить) и принуждены прозябать и увядать в противном Славнобубенске, где у них находится еще покуда, как остаток прежнего величия, старый деревянный дом, во вкусе старинных барских затей, с большим запущенным садом.

Итак, шестерик княжон Почечуй-Чухломинских переполошился чуть ли не более всех остальных дам и девиц славнобубенских. Большая часть матрон, диан и весталок втайне тревожились неизвестностью, получают ли они *от самой madame* Гржиб приглашение на любительский спектакль или не получают, что, конечно, будет для них величайшим афронтом. Иным хотелось самолично участвовать в спектакле, в числе действующих лиц, дабы публично обнаружить свои таланты и прелести, причем особенно имелся в виду блистательный и дорогой гость: каждая мечтала так или иначе затронуть его баронское сердце, и поэтому каждая наперерыв друг перед дружкой изощряла все силы остроумия и фантазии насчет туалета: *madame* Чапыжниковой хотелось во что бы то ни стало перещегоолять *madame* Ярыжникову, а *madame* Пруцко сгорала желанием затмить их обеих, поэтому *madame* Чапыжникова тайком посылала свою горничную поразведать у прислуги *madame* Ярыжниковой, в чем думает быть одета их барыня, а *madame* Пруцко нарочно подкупила горничных той и другой, чтоб они сообщали ей заранее все таинства туалета двух ее приятельниц. Положение княжон Тугоуховских было печальнее, чем можно себе вообразить. Всем шестерым непременно хотелось участвовать и в спектакле, и в живых картинах, и они знали, что неизбежно будут участвовать и в том и в другом, а особенно в живых картинах, потому что *madame* Гржиб, и графиня де-Монтеспан всегда к ним очень благосклонны, княжны так наивно и так котячьи-нежно умеют к ним ласкаться и лизаться, и чмокаться. Дело, конечно, не обойдется без участия княжон Почечуй-Чухломинских, хотя бы ради одной представительности, заключающейся в их княжеском имени, – ну, да и *madame* Гржиб, с высоты своего губернаторского величия, никогда не забывала протезировать бедным, но титулованным невестам и потому при всяком подходящем случае выдвигала их на выставку. Но вот в чем главная беда и величайшее горе: к спектаклю и особенно к живым картинам неизбежно придется делать новые костюмы, свежие туалеты, а там еще, – черт его возьми, бал в виду имеется, значит, опять-таки шей свежие платья, а тут на прошлой неделе князь-рара изволил в клубе проиграться, и денег в виду никаких и ниоткуда! Ни модистка Уазо, ни портниха Боришина, ни купец Ласточкин, того и гляди, не отпустят в кредит материала; придется просить, выпрашивать, уверять, кланяться и, может быть, все это понапрасну. Поэтому весь княжеский дом был преисполнен вздохов, охов, истерических всхлипываний и бранчивых возгласов. Княгиня-татап нервно корила князя-рара в том, что он не отец своим детям, а прямой расточитель, что он не хочет счастья своих дочерей, губит их молодость, их судьбу, их карьеру. Князь-рара пыхтел из своего длинного черешневого чубука и громко желал себе провалиться

в преисподнюю из этого каторжного дома. Две старшие невесты неневестные поругались с тапан, поругались с рара, поругались с сестрицами, со своею злосчастною горничною, которая наконец просто очумела, оглупела и сбилась с толку от беготни, хлопот, подшиванья, глаженья, брани и крика. В заключение невесты неневестные переругались между собой и теперь обе лежали в истериках, а младшие княжны продолжали свое: кто вертелся перед зеркалом в зале и «тра-ла-лакая» повторял *на* вальса, кто продолжал еще доканчивать прежнюю брань и крики и слезы. Словом сказать, князь-рара был совершенно прав, когда назвал дом свой каторжным, а всю эту чепуху и сумятицу сущим Содомом.

Анатоль со Шписсом изрыскали весь город, объявляя повсюду, что один играет в тургеневской «Провинциалке» графа, а другой будет Финтиком в «Москале Чаривнике». Анатолий целые утра проводил перед зеркалом, громко разучивая свою роль по тетрадке, превосходно переписанной писцом губернаторской канцелярии, и даже совершенно позабыл про свои прокурорские дела и обязанности, а у злосчастного Шписса, кроме роли, оказались теперь еще сугубо особые поручения, которые ежечасно давали ему то *monsieur* Гржиб, то *madame* Гржиб, и черненький Шписс, сломя голову, летал по городу, заказывая для генеральши различные принадлежности к спектаклю, то устраивал оркестр и руководил капельмейстера, то толковал с подрядчиком и плотниками, ставившими в зале дворянского собрания временную сцену (играть на подмостках городского театра *madame* Гржиб нашла в высшей степени неприличным), то объяснял что-то декоратору, приказывал о чем-то костюмеру, глядел парики у парикмахера, порхал от одного участвующего к другому, от одной «благородной любительницы» к другой, и всем и каждому старался угодить, сделать что-нибудь приятное, сказать что-нибудь любезное, дабы все потом говорили: «ах, какой милый этот Шписс! какой он прелестный!» Что касается, впрочем, до «мелкоты» вроде подрядчика, декоратора, парикмахера и тому подобной «дряни», то с ними Шписс не церемонился и «приказывал» самым начальственным тоном: он ведь знал себе цену.

Наконец, роли кое-как были розданы, причем не обошлось без огромнейших затруднений. Что касается до «Провинциалки» и «Москаля», то насчет этих пьес не могло уже быть ни малейших возражений и разговоров, ибо сама прелестнейшая *madame* Гржиб взяла на себя главную роль как в той, так и в другой, и закрепила постановку их своим беспрекословным «я так хочу». Но беда произошла с водевилем: все дамы непременно хотели играть первую роль, и не иначе как первую, но никто не желал играть старуху; еще менее того нашлось желающих взять на себя роль горничной, которая была единогласно сочтена за роль предосудительную и унижительную. Супруга одного уездного предводителя не на шутку обиделась, когда Шписс предложил ее дочери взять на себя «эту рольку». Молоденькой барышне сильно хотелось заявить свой талант, хотя бы даже и в роли горничной, но маменька наотрез запретила ей даже и думать о спектакле, сочтя все это дело за желание со стороны губернаторши пустить ей шпильку, и усмотрела в нем даже оскорбление всему дворянскому сословию, почему и поспешила заявить Шписсу, что отныне нога ее не будет не только что в спектакле, но и в доме самой губернаторши. Напрасно клялся, уверял и распинался злосчастный Шписс, напрасно хныкала барышня, – гордая уездная предводительша осталась непреклонною и очень сухо откланялась черненькому Шписсу. Шписс уехал в отчаянии: приходилось просто хоть самому играть и старуху, и горничную. Наконец-то подыскали для горничной какую-то бедную сироту, из чьих-то безгласных племянниц или воспитанниц, а старуху почти что приказали сыграть супруге какого-то частного пристава – и любительский спектакль, слава Богу, был окончательно обставлен. Маленький Шписс впервые вздохнул свободно.

Начались репетиции, которые так любят артисты-«любители», вроде прелестного Анатоля, и так не жалуют ревнивые супруги иных «любительниц». Во все дни, пока продолжают любительские репетиции, – блаженное время для влюбленных, заинтересованных и

ухаживающих, – городские сплетни начинают разрастаться и идут все *crescendo* и *crescendo*, завершаясь в конце концов обыкновенно несколькими ссорами и даже скандалами. Madame Чапыжникова начинает зорко наблюдать за madame Ярыжниковой и за ее «халахоном», madame Ярыжникова следит за «предметом» madame Чапыжниковой, и глядь, на другой день madame Пруцко, которая тоже под сурдинку придерживается той поговорки, что «грех сладок, а человек падок», начинает повествовать по секрету Фелисате Егоровне: «Душечка моя! слышали вы, срам какой! Эта противная Ярыжникова, представьте! вчера-то на репетиции в темной кулисе целоваться изволила с своим аманом, а потом без стыда без совести уехали вдвоем кататься куда-то за город... Это ночью-то, ночью! И при всех! Думают, что все так глупы и слепы, что никто ничего не замечает!» Фелисата Егоровна в ужасе качает головой, и идет рассказывать – как противная Ярыжникова, в неприличной позе, за кулисами шепталась и целовалась, и обнималась со своим аманом, а на следующий день весь город уже уверял, что madame Ярыжникова делала в кулисах такое, про что и сказать невозможно.

Сама губернаторша имела обыкновение часом и даже двумя опаздывать на репетицию, причем все остальные должны были кротко и терпеливо дожидаться прибытия ее превосходительства. Являлась она не иначе как в черном платье, в черных гипюрах, в черных перчатках, с черными четками на шее, с которых спускался на грудь черный крест, сделанный так, что имел вид креста сломанного. Ни единой цветной ленточки не было заметно в строго-траурном наряде генеральши, только из-под четок сквозило серебро небольшой брошки, которая изображала одноглавого орла с поднятыми крыльями. Тридцатидвухлетняя madame Гржиб, надо отдать ей полную справедливость, в своем одноцветном и строго обдуманном наряде казалась очень эффектной женщиной и была даже хороша. Славнобубенцы заметили, что с некоторого времени это черное платье и эти украшения сделались неизменным обыденным костюмом губернаторши. Графиня де-Монтеспан – единственная женщина, которая дерзала еще ставить себя почти на одну доску с нею, – из подражания ей, тоже облекала себя в черное, сообщая вначале, до разъяснения дела, что это «англомания». И шестерик княжон Почечуй-Чухломинских, само собою, не отставал от своих протектрис, благо черные платья, сшитые еще два года назад, когда померла их тетка, нашлись под рукою. Теперь они были только почищены да переделаны на более модный, современный фасон. И глядь, чрез некоторое время, почти все, что только имело претензию причислить себя к славнобубенскому «порядочному обществу», необыкновенно возлюбило черные платья, найдя этот цвет чрезвычайно изящным выражением высшего *comme il faut*⁵⁰. Особенно жены чиновников стремились подражать губернаторше. Мода вообще заразительна, а мода, инициатива которой исходит от власти, становится почти обязательною для каждой благонамеренной чиновницы. В Славнобубенске же мода эта особенно пошла в ход после одного маленького случая. Madame Пруцко явилась на одну из репетиций в ярком цветном платье, в яркой сетке и в ярких перчатках. Губернаторша только молча покосилась на эту праздничную яркость и перекинулась взглядом с графиней де-Монтеспан, которая изобразила на губах пренебрежительную усмешку. Когда madame Пруцко подлетела к ним с поклоном, графиня, суховаато протянув руку, спросила ее как-то сквозь зубы:

– Что это вы, та *chèге*, именины сегодня празднуете?

Madame Пруцко нашла себя очень «афрапированною» таким странным вопросом и, весьма удивленная, с живостью ответствовала:

– Именины?! Нет. А что?

Графиня не договорила и только плечами пожала в заключение.

– А что же? Это платье Уазо мне шила по зимней картинке, – возразила Пруцко.

⁵⁰ Порядочный, приличный (фр.).

– О, я в этом уверена! – подхватила Монтеспан, – но... но эта яркость... знаете ли, *ma chère*, такое ли теперь время, чтобы радоваться, носить цветное!.. Помилуйте! – вспомните, что на белом свете творится!.. Люди страдают, мученики гибнут, везде слезы, скорбь... Знаете ли, *ma chère*, скажу я вам по секрету между нами, в таких обстоятельствах нечему нам особенно радоваться... Черный цвет приличнее... и тем более, что это мода... Взгляните, например, на Констанцию Александровну: не выходит из черного цвета.

Madame Пруцко хотя и не совсем-то ясно уразумевала, где эти слезы и скорбь и какие именно мученики гибнут, однако, убежденная последним аргументом касательно губернаторши, на другой же день облеклась в черное и, по секрету, разблаговестила всем приятельницам о своем разговоре с графиней.

И вскоре после этого элегантный Славнобубенск щеголял уже в трауре, отыскивая по всем галантерейным лавкам черных крестов и четок, а Славнобубенск не элегантный покамест все еще продолжал костенеть в своем невежестве.

За неделю до спектакля билеты почти уже все были разобраны. Это показывает, во-первых, насколько Славнобубенск интересовался игрою «благородных любителей», а во-вторых, объясняется тем, что предварительную продажу билетов взяла на себя сама Констанция Александровна, задние же ряды были поручены полицмейстеру, а тот уже «принял свои меры», чтобы все билеты были пораспиханы, и в этом случае, – хочешь не хочешь, – отдувалось своими карманами преимущественно именитое купечество. Всякий благонамеренный гражданин, желая заявить свое усердие, спешил воспользоваться случаем, чтобы лично, из ручек ее превосходительства, заполучить билетец. Ее превосходительство распорядилась назначить цену местам вообще довольно высокую и при этом печатно заявила, что всякое пожертвование будет принято ею с благодарностью. После этого, понятное дело, ей только и оставалось изъяслять благодарности.

Приезжает к ней, например, какой-нибудь господин с визитом. Первым делом, после нескольких слов незначащего разговора, она приступала к гостю:

– Ах, да! *monsieur* такой-то, вы, конечно, будете в нашем спектакле?

Monsieur такой-то спешит любезным склонением головы подтвердить ей полное и все-непременное свое намерение присутствовать на любительском представлении.

– В таком случае позвольте предложить вам билет, ведь вы не запаслись еще?

И генеральша, – тут как тут, – вытаскивала уже карточку, изящно отпечатанную на глазированном пергаменте. *Monsieur* такой-то с любезною застенчивостью осведомляется, что это стоит?

– О, это вполне зависит от вашего доброго желания, – предупреждает губернаторша; – чем больше, тем лучше! Ведь это в пользу моих милых бедных. Вы доброе дело сделаете!

Прелестная женщина произносит эти слова с таким грациозно-прелестным выражением просьбы, доброты и человеколюбия, что *monsieur* такой-то тотчас же изображает улыбку своею полнейшую и вселюбезнейшую готовность заклать самого себя в пользу милых бедных губернаторши. И вот в шкатулку ее превосходительства прячется синяя или красная депозитка за место, стоящее два или три рубля. Ее превосходительство благодарит так мило и, грациозно протягивая для пожатия свою благоухающую руку, прибавляет с такою очаровательною кокетливостью:

– Смотрите же, хлопайте мне, ведь я сама играю!

И господин уезжает, обещая не жалеть для нее ни перчаток, ни ладоней.

С другими же господами, которые, что называется, на карман туговаты, Констанция Александровна принимала тактику иного рода, и эту тактику мы могли бы назвать милым нахальством. Получив билет, осведомляется, например, господин о выставленной цене своему месту и вытаскивает из кармана какие-нибудь две желтенькие бумажки. Генеральша тотчас же встречает их своим кокетливым удивлением.

– Что это! Только-то! Это в пользу моих-то бедных? – произносит она с милою, недовольною гримаскою; – фи, какой вы не добрый! Какой вы скупой! Извольте жертвовать больше, чтоб я могла поблагодарить вас, а то когда бы знала я это, так и билета не дала бы вам.

Господин конфузится, неловко улыбается и, нечего делать, вытаскивает добавочные деньги.

А с иными, которые желали жертвовать рубля два или три сверх номинальной цены, но, не имея при себе мелких бумажек, подавали губернаторше для сдачи какую-нибудь красную, а не то и лиловую депозитку, она обращалась еще с большею бесцеремонностью:

– Что это, сдачу хотите? (при этом следовал все тот же мило и грациозно-удивленный взгляд). Но у меня нет мелких; я не имею сдачи, значит, уж надобно жертвовать все... Я вас буду очень, очень благодарить за это, от лица моих милых бедных!

И генеральша с невыразимою любезностью, с невыразимо-приятным взором и улыбкой потрясает руку невольного-щедрому жертвователю.

И таким образом, еще задолго до спектакля в ее роскошной шкатулке накопилась уже весьма и весьма порядочная сумма.

Наконец наступил и парадный час «благородного спектакля». Нечего рассказывать о том, что зала была битком набита публикой, среди которой собрался цвет славнобубенского общества, что madame Гржиб в роли madame Ступендьевой была встречена громом рукоплесканий, причем ей был подан из оркестра прелестный букет – плод особенных стараний находчивого Шписса. Скажем только, что Ступендьева блистала изяществом своих манер, прелестный Анатолий явился прелестнейшим графом, и все прочие артисты хотя далеко уступали в изяществе, зато роли свои выдолбили превосходно: нельзя же иначе – потому играют с губернаторшей, и само высшее начальство на их игру взирать изволят. «Москаль Чаривник» прошел столь же блистательно. Майор Перевохин, командир батальона внутренней стражи, изображал солдата и явился пред публикой истинным бурбоном, что было весьма характерно и все время сопровождалось аплодисментами. Madame Гржиб, в роли казачки Татьяны, пленила всех своим костюмом и своим пением. Цель ее была достигнута: барон Икс-фон-Саксен плавал в масле восторга и все время шурился на нее сладостными взорами. Но когда усердно-преданный Шписс, в виде приказного Финтика, выполз из-под печи, весь перепачканный сажой, и смиренно пополз на коленках, восторгам и хохоту не было конца. Предводитель князь Кейкулатов даже расчихался от смеху, а Непомук хохотал всей утробой и всем сопеньем своим, так что трудно было решить, чего издает он более: хохоту или сопенья? Непомук в тот же счастливый миг решил, что Шписса необходимо нужно представить к следующей награде. Водевилью аплодировали менее, потому что губернаторша в нем не участвовала, а игру частной приставши даже многие весьма раскритиковали, хотя приставша отличалась ничуть не хуже прочих.

Наконец, пошли живые картины – главное поприще шестерика княжон Почечуй-Чухломинских, madame Пруцко и mesdames Чапыжниковой с Ярыжниковой. Три старшие княжны изображали собою трех граций, причем две невесты невестные стояли боковыми грациями. Весь шестерик кое-как уладил свои затруднения относительно костюмов. Купец Ласточкин действительно не возжелал отпустить им материи, а madame Oiseau⁵¹ не бралась шить и ставить приклад, но княжны заявили о своем слезном горе Констанции Александровне, – и ее превосходительство в ту же минуту откомандировала Шписса к непокорному невеже Ласточкину, с приказанием немедленно отпустить подходящее количество разных материй, по приложенному реестру княжон, а модистку Oiseau велела позвать к себе, переговорила с нею о чем-то наедине – и madame Oiseau в три дня пошила костюмы на весь шесте-

⁵¹ Мадам Вуазо (фр.).

рик. Таким образом княжны были и обуты, и одеты, и напоказ публике поставлены. «Трех граций» княжны изображали хотя и не совсем верно с оригиналом, тем не менее весьма многие любители нашли их удовлетворительными: они выставили себя перед публикой в кисейных туниках, чего, собственно, для граций не полагается. От этого, конечно, пострадала мифологическая истина, зато выиграла девическая скромность. Это были грации вполне целомудренные. Засим mesdames Ярыжникова, Чапыжникова и Пруцко аллегорически изобразили из себя три реки: «Вислу, Оку и Волгу», «Висла» печально, но гордо стояла поодаль, а «Волга» принимала «Оку» в свои объятия. Одна из средних княжон Почечуй-Чухломинских предстала в виде «Свободы», одетой в красную фригийскую шапку, и острослов Подхалютин довольно громко заметил при этом, что «Свобода» ничего бы себе, да жаль, что больно тощая. Замечание это найдено иными неприличным, а иными иносказательным. Вслед за этим madame Гржиб показала себя в неге, полупрозрачной «Вакханкой у ручья», и никак не воздержалась, чтобы не метнуть при этом на Саксена взор весьма выразительного свойства. Непомук, увидя супругу свою в таком соблазнительном виде, опустил глаза долу и поскорее полез в задний карман за золотой табакеркой, чтобы в медленной понюшке табаку найти себе приличное занятие, пока длится эта красноречивая картина. Добавить ли, что появление супруги в таком виде сказалось ему втайне не совсем-то удобным ощущением? Зато Саксен чуть не подпрыгнул в кресле от избытка сладострастного восторга; зато публика встретила полупрозрачное позорище своей начальницы восторженными рукоплесканиями; зато усердно-преданный Шписс замирал от почтительного и в то же время дерзостного (до известной степени) наслаждения. После «Вакханки у ручья» следовала картина под названием «Фонтан невинности». На картине стоял картинный барашек, а подле барашка вторая средняя княжна Почечуй-Чухломинская с опрокинутой урной в руках, из которой примерно истекала фольговая вода. Подхалютин пришел в некоторое недоумение и спросил, где же тут собственно невинность: в княжне или в кувшине, и если в кувшине, то напрасно княжна Тугоуховская столь безрасчетно тратит ее, и что напрасно не участвует в этой прекрасной картине mademoiselle Сидорова. Сидевшая рядом с ним подруга Сидоровой, ради которой, собственно, и была пущена острословом эта неприличная выходка, ничего ему не возразила, но зато весьма коварно и не без удовольствия улыбнулась. Были и еще две или три картины, вроде «Пляски с тамбурином», «Ангела ночи», «Амура и Психеи», которые все до единой приняты публикой с полным одобрением. Один только Подхалютин оставался не совсем доволен, но и то потому, что на предварительном совещании относительно картин не было принято его предложение.

– Помилуйте, – говорил он, – я предлагал им поставить две русские и очень поучительные картины. Обе из басен Крылова. Одну – «Лягушки просящие царя», а другую – «Квартет». – «Помилуйте, – говорят мне: как же это лягушек вдруг изображать? кто же станет лягушками?» – Как, Боже мой, кто! А madame Пруцко? а Чапыжникова с Ярыжниковой? а Фелисата? да и мало ли их тут? И чем же не годятся? а что касается до «Квартета», то тут даже и костюмов не надо: возьмите просто членов губернского правления и поставьте – целиком, как есть, будет картина в лицах! И притом очень поучительно!

Но блистательнее всего было заключение этого спектакля. Madame Гржиб заранее еще задумала поразить почтеннейшую публику неожиданным сюрпризом. Никто не ожидал ее появления, как вдруг, при громе удалой мазурки поднялась завеса – и изумленным очам зрителей предстала ее превосходительство в польском национальном костюме... Малиновая конфедератка с белым султаном лихо была взброшена набекрень, рукава белого кунтуша еще лише откинута назад, красные сапожки со шпорами изящно облекали икры вкусных ножек генеральши, в руках бельгийский штуцер, сбоку блистающая сабля. Констанция Александровна произвела решительный фурор. Даже сам Непомук, несмотря на всю свою солидную осторожность, не выдержал и усиленно захлопал в ладоши, а Саксен просто ослабел от

избытка наслаждения и, упоенно втягивая в себя воздух, как-то шипяще вздыхал «charmant!.. charmant»!..⁵² Пшецыньский не хлопал, но сладко улыбался и залихватски покручивал да пощипывал русский ус: он был очень доволен неожиданным сюрпризом. Зато лихой полицеймейстер Гнут, вообще ценитель женской красоты – упоенный жгучими прелестями ее превосходительства, надседался всею грудью, стучал каблуками и саблюю, – и проводил все это без малейшей задней мысли, но вполне бескорыстно, восхищенный, так сказать, одной эстетической стороной дела. Эта неожиданная картина пошла у генеральши взамен «Молодого Грека с ружьем».

В спектакле благородных любителей проявилась весьма заметная, но едва ли случайная особенность: очень много дам, которые составляли чуть ли не большинство славнобубенского общества, явились на этот спектакль в строго черных нарядах. Между ними были даже и такие, которых никто никогда и не запомнил, чтобы они носили черное, а теперь и эти вдруг блистают мрачным цветом своего костюма.

– Астафий Егорыч, – обратился в антракте к Подхалютину один из его знакомых. – Что это, батенька, замечаете вы, почти все в черном? Словно бы траур у них!

– Да траур и есть, – подтвердил славнобубенский философ.

– Господи помилуй! Но по ком же, однако?

– А здравый смысл погребают. Это одно; а второе – крепостное право только что схоронили: как же тут не плакать?

– Э, да вы все свое городите! Нет, я вас спрашиваю всерьезную, ведь это, взгляните сами, просто в глаза бросается!

– А и в самом деле любопытная штука! – пробурчал себе под нос философ, окинув внимательным взглядом всю залу, – мода это, что ли, завелась у них такая? Пойду спрошу у Марьи Ивановны, благо и сама тоже в черном: она ведь человек компетентный.

И острослов направился своею лениво-перевалистою походкою к одной полной пожилой даме, которая, невзирая на двух взрослых и рядом с нею сидящих дочерей, все еще стремилась молодиться и нравиться, и разговаривая с людьми, глядела на них не иначе как сквозь лорнет.

– Здравствуйте, маменька! – подсел к ней Подхалютин. – Скажите мне на милость, зачем это вы на такое блистательное позорище явились вдруг чуть не в трауре? И барышни тоже вот в черном, – промолвил он, кивнув на двух ее дочек.

– А вы инспектируете наряды?.. Это скорее бы дело полиции! – слегка колко, но очень мило ответствовала маменька.

– Нет, я только любопытствую, – оправдывался философ, – и прошу просветить меня, в темноте ходящего. Что это, мода у вас нынче такая, или что?

– Не мода, а обязанность, долг наш! – довольно гордо и не без самодовольной рисовки ответила одна из барышень.

Немало изумленный Подхалютин выпучил глаза.

– До-олг?.. Обязанность? – недоуменно протянул он; – то есть как же это?

– А вы хотите, чтобы мы радовались, когда родина наша страдает? – с задорливой искоркой застрекотала другая дочка.

– Э, барышня, что это вы такое говорите! – снисходительно усмехнулся Подхалютин, – ну, где там страдает! Наша родина вообще страдает только тремя недугами: желудком после масленицы, тифом на Святой, по весне, да финансовым расстройством, en générale, которое, кажется, нынче перейдет в хроническое. Вот и все наши страдания.

– Да; это ваша родина, может быть; но ваша не наша, – продолжала та же барышня.

– Так, по-вашему, Польша не страдает? – подхватила другая сестрица.

⁵² Прелестно! Прелестно! (фр.).

– Польша?.. Да какое нам с вами дело до Польши? – удивленно пожал плечами Подхалютин. – Вы разве польки?

– Польки! – гордо ответили каждая за себя обе барышни.

– Вот сюрприз-то! – Подхалютин даже с места вскочил при этом. – Марья Ивановна! Маменька! – обратился он к полной даме, – да что это они у вас за вздор говорят?

– Ничуть не вздор, – возразила та, – мы действительно поляки.

– Давно ли это? – продолжал все более изумляться Подхалютин.

– Вот вопрос! всегда поляками были!

– Ну, полноте, маменька!.. Уж вы не шутите ли надо мною?

– С какой же стати! Да и что же за шутки? Разве такими вещами можно шутить?

– Господи помилуй! – пожимал плечами философ. – Поляки... В первый раз слышу!..

Так и папенька ваш, Матвей Осипыч Яснопольский, тоже поляк?

– Разумеется! – амбициозно подфыркнули барышни. Подхалютин перекрестился обеими руками.

– Господи Боже мой! – продолжал он, – двадцать лет знаю человека, встречаюсь каждый день, и все считал его русским, а он вдруг, на тебе, поляк оказывается! Вот уж не ожидал-то! Ха-ха-ха! Ну, сюрприз! Точно что сюрприз вы мне сделали! А ведь я какое угодно пари стал бы держать, что славнобубенский стряпчий наш Матвей Осипыч – русак чистокровный!.. Ведь я даже думал, что он из поповичей!

– Это нам очень грустно, если вы нас за русских считаете, – сухо ответствовали ему барышни.

Подхалютин внимательно посмотрел на них, полуиспытующим, полусоображающим взглядом, молча отвесил почтительный поклон и отретировался.

– Ольга Назаровна! – подошел он вслед за тем к одной старушке, сидевшей на противоположном конце того же ряда, – уж и вы, матушка, тоже не полька ли?

– Что такое? – не расслышав или не поняв, прищурилась на него старушка.

– Я спрашиваю, не полька ли вы?

– Польша?! Да что ты, мой батюшка, очумел, что ли? Какая я тебе полька!

– А зачем же вы тоже в черном, вы, которая так любите и розы, и алые ленты, и цветные материи? а?

– В черном? – Старушка оглядела самое себя и обдернула свое шелковое платье. – Да как тебе сказать это, мой батюшка!.. Все вишь, нынче носят черное, ну так и я заодно уж надела.

– По пословице, значит: куда люди, туда и мы?

– По пословице, родной, по пословице. А ты, мой батюшка, все шалберничаешь, – погрозила она ему пальцем; – а нет того, чтобы зайти к старухе посидеть!.. Приходи, что ли; в бостон по старой памяти поиграем. А мне кстати из деревни медвежьи окорока прислали, ты ведь любишь пожрать-то?

– Это мы можем, потому на том живем! – согласился Подхалютин и в знак благодарности поцеловал ее ручку.

Через день после спектакля, в неофициальном отделе славнобубенских губернских ведомостей на первом месте красовалась статейка под названием: «Благотворительный спектакль благородных любителей с живыми картинами». Статейка эта умиленно отдавала дань признательности и восхищения всем участвовавшим; но на первом плане, конечно, стояла ее превосходительство, супруга достойного начальника губернии, Констанция Александровна Гржиб-Загржимбайло.

«В настоящее время, когда вся Россия спешит обновиться и обогатиться плодами прогресса и европейской цивилизации, – вещала эта статейка, – и наш далекий город Славнобубенск тоже не отстает от других своих собратьев, раскинутых на всем могуче необъят-

ном пространстве нашей родной, широкой матушки-Руси. И мы, славнобубенцы, в нашем мирном далеком уголке тоже стремимся положить свою лепту в общую сокровищницу, и мы тоже порой умеем веселиться и поднимать свой нравственный и интеллектуальный уровень истинно-эстетическими удовольствиями». Засим следовало цветистое описание самого спектакля, «который почтило своим присутствием наше славнобубенское общество в лице всех лучших его представителей». Тут отдавалась вполне справедливая дань талантам Анатоля, Шписса и гарнизонного майора Перевохина. «Наши милые и достойно уважаемые дамы, – говорила далее статейка, – неожиданно и очень приятно поразили нас своим искусством и дарованиями, коим могла бы истинно позавидовать не одна столичная артистка. Нельзя не поблагодарить также молодых княжон Почечуй-Чухломинских, которые украсили собою превосходно поставленные живые картины. Присутствовавшая избранная публика вполне оценила и отдала им должную дань справедливости, похвал и одобрения. Г-жи Ярьжникова, Чапыжникова и Пруцко с грацией, достойной их наружности, пленили зрителей картинным сочетанием и эффектно поставленной аллегории трех рек славянских. (В этом месте по описке или по невежеству усердствовавшего автора было поставлено прежде „русских“, но Непомук, к которому для просмотра и одобрения была предварительно доставлена корректура, зачеркнул слово „русских“ и собственноручно вместо его изволил написать „славянских“.) Но более всех оживила наш скромный спектакль, – продолжал автор статейки, – это, без сомнения, ее превосходительство, достойная супруга г-на начальника губернии, Констанция Александровна Гржиб-Загржимбайло. Исполненная ею роль Ступендьевой в тургеневской „Провинциалке“ не оставляет желать ничего лучшего. Звучный тембр ее сильного гибко-страстного, выразительного и отлично обработанного органа, в роли Татьяны из „Москаля Чаривника“, приводил всех в истинный и неподдельный восторг и, казалось, переносил мечтающую и упоенную душу зрителя в какой-то иной, неведомый, дивно-фантастический и волшебно-сказочный мир... Казалось, как будто в самом воздухе веяло роскошными, ароматными степями блаженной Украины, столь божественно воспетой Гоголем». Воздав достодолжную дань поклонения артистам-любителям, автор в заключение перешел к благотворительной цели спектакля «Теперь, – восклицал он, – благодаря прекрасному сердцу истинно-добродетельной женщины, благодаря самоотверженно-неусыпным трудам и заботам ее превосходительства, этой истинной матери и попечительницы наших бедных, не одну хижину бедняка посетит и озарит внезапная радость, не одна слеза неутешной вдовицы будет отерта; не один убогий, дряхлый старец с сердечною благодарностью помянет достойное имя своей благотворительницы, не один отрок, призреваемый в приюте, состоящем под покровительством ее превосходительства, супруги г-на начальника губернии, вздохнет из глубины своей невинной души и вознесет к небу кроткий взор с молитвенно-благодарственным гимном к Творцу миров за ту, которая заменила ему, этому сирому отроку, нежное лоно родной матери. И все они: эта убогая вдовица, этот согбенный и сырый старец, этот отрок невинный благословят от чистого сердца своего ангела-утешителя».

Словом сказать, статейка вышла очень трогательная.

Неусыпно-деятельный и трудолюбивый Шписс составил отчет о спектакле. В отчете в этом сбор был показан по номинальным ценам, и из этого сбора, за покрытием всех издержек, в число коих входили неоднократные чаи, закуски, конфекты и лимонады с оршадами для любителей, во время репетиций, осталось чистой выручки 127 р. 32 3/4 коп. сер. Эти деньги, при форменном отношении, и были препровождены в приказ общественного призрения.

XIX

De funduszu zelaznego ⁵³

А между тем в шкатулке ее превосходительства хранилось около тысячи рублей собранных ею из вольных пожертвований сверх номинальной цены.

В кабинете Констанции Александровны дверь была весьма предусмотрительно заперта на задвижку. Тяжелая портьера вплотную закрывала ее собою. Шторы на окнах тоже были опущены, так что ничей нескромный глаз не мог бы подглядеть и ничье постороннее ухо не могло бы подслушать того, что делалось в данную минуту в комфортабельном кабинете славнобубенской губернаторши.

Прелестная женщина сидела на бархатном пате, перед раздвижным столиком, а против нее, за тем же столиком, помещался на мягком табурете ксендз Кунцевич. Пред обоими стояло по чашке кофе, а между чашками – изящная шкатулка губернаторши, очень хорошо знакомая всем ее вольным и невольным жертвователям «в пользу милых бедных». Ксендз, изредка прихлебывая кофе, очень внимательно выводил на бумаге какие-то счета. Констанция Александровна с неменьшим вниманием следила за его работой.

– Так. Теперь верно, – тихо сказал наконец каноник, кладя карандаш. – Негласной офяры переправлено мною 110 рублей; от лотереи в пользу приюта уделено 230; от публичных лекций Кулькевича и Подвиляньского 50 рублей; костельного кружечного сбора 31 рубль 50 копеек; старогорский исправник Шипчинский с пяти волостей, из сбора на погорелых, уделил тогда 20 рублей; от пана Болеслава получено мною 15, да ныне 941 рубль: итого выходит 1397 рублей 50 копеек. В пять месяцев с одного только Славнобубенска – дали Буг, не дурно!

И ксендз с удовольствием потер свои мягкие, белые ручки.

– Я хочу, – поднялась с места губернаторша, – я хочу, чтобы на нынешний раз мы отправили уж так-таки полную тысячу. Пусть там получают они круглую сумму! Поэтому я офярую из своих собственных пятьдесят девять рублей, да страховых с весовыми двенадцать.

И она достала из своего бюро и подала ксендзу счетом семьдесят один рубль.

Кунцевич благоговейно благословил ее подающую руку и с видом теплой благодарности присоединил эти деньги к полновесной пачке, перевязанной тесемкою.

– Как же переправить их? – озабоченно спросила пани Констанция.

Ксендз поклонился на это так, что поклон его явно выражал:

«Уж мы-де знаем! Вполне на нас положитесь!»

– Прямо до бискупа? – продолжала она.

– Ой, нет! Как же ж так-так до бискупа? До бискупа дойдут своим чередом. Там уж у нас есть надежные люди – на них и отправим. А там уж передадут... Я думаю так, что рублей четырехста сам я пошлю, а об остальных попрошу пана Болеслава, либо Подвиляньский пусть поручит пану Яроцю, а то неловко одному переправлять такую большую сумму.

– Надо поскорее бы...

– Поскорей не можно... поскорей опять неловко будет: как же ж так-таки сразу после спектакля?... Мало ль что может потом обернуться! А мы так, через месяц, сперва Яроц, а потом я. Надо наперед отправить наши росписки, то есть будто мы должны там, а деньги прямо на имя полиции; полиция вытребует кредиторов и уплатит сполна, а нам росписки перешлет обратно. Вот это так. Это дело будет, а то так, по-татарски – ни с бухты, ни барахты! – «Завше розумне и легальне и вшистко розумне и легальне!»

⁵³ Железному фонду (польск.).

Ксендз допил кофе, бережно положил в боковой карман пачку денег и, благословив свою духовную дочь, удалился, имея в нынешний день еще много работы. Он опустил шторы в своем «лабораториуме», приказал Зосе сказывать всем, за исключением разве Пшецыньского или Подвиляньского, что его нет дома, и уселся за письменный стол. Писал он долго, с видимым удовольствием:

«Превелебный пане!

«In nomine Dei et Filii et Spiriti Sancti ⁵⁴ начинаю мое всенижайшее донесение. Не имею пока достаточных сведений, так ли идет в других городах и провинциях Московии, но у нас – успех за успехом, и каждый успех малый успехом большим. Вам уже известно происшествие в Высоких Снежках, пока еще не оправдавшее надежд насчет здешнего варварски-тупого народа, в сравнении с которым волк, огрызающийся на разящую его руку, является существом более свободолюбивым и более разумным. Впрочем, никак не следует отчаиваться. Здесь не теряют надежды: агитация по селам непременно должна сделать свое дело. Здешний центр, как уже было доносимо, организовался давно и необыкновенно счастливо: имея по правую руку высокопоставленную влиятельную женщину, а по левую доброго сына отчизны, можно действовать, соображать, наставлять и направлять по тройственному усмотрению. *Центр* хорошо спрятан, отлично смаскирован: его никто не знает, никто не подозревает. В недавнее время начинает и здесь идти в ход система *троек*⁵⁵. Ни с правою, ни с левою рукою никто кроме главы, с благословения превелебной мосци поставленной, никаких сношений не имеет и о причастности их к центру не знает. В последние дни, после неспешной, но удачной подготовки, образовался центр подцентральный, который репрезентует себя в одной только особе некоего учителя, имеющего непосредственные и исключительные сношения с главою, но не знающего о содействии рук. Этот-то подцентральный центр служит для двух посвященных низшей степени осязаемым центром, и эти двое (доктор и другой учитель) почитают его в убеждении своем, как местный и притом единственный центр, облеченный самостоятельностью и независимостью. Эти последние *двое* успешно завербовали себе тройки, знающие, что местный центр в *чьем-то* лице существует, но в *чьем?* – то пока остается для них непроницаемой тайной, да надеемся, таковою и навсегда останется. По сведениям, лица, составляющие эти тройки, каждое в отдельности, с успехом уже занялись вербованием следующих своих собственных троек. Решено было нарочито принять систему *троек*, а не *десятков*, в том предпочтении, что тройка, являющая собою единицу меньшую количеством чем десяток, наименее опасна для целостности и стройности остальной организации, ежели бы кто по малодушию не удержал язык свой пред врагами.

Слово святого костела и тайна конфессионала сделали, с помощью Бога, то, что те лица и даже целые семейства, которые, живя долгие годы в чуждой среде, оставили в небрежении свой язык и даже национальность, ныне вновь к ним вернулись с раскаянием в своем печальном заблуждении и тем более с сильным рвением на пользу святой веры и отчизны.

Общество врагов растленно и легкомысленно, и та часть оно, которая наиболее оказывает сочувствие делу для нее чуждому, поистине наиболее достойна величайшего презрения. Польская земля, гордая любовью и верою сынов своих, покраснела бы от сраму и заплакала бы кровавыми слезами в тот день, когда из недр ее могло бы народиться столько отщепенцев, столько Искарियों! Но, к счастью, Польша не Татария. Это отребье земли

⁵⁴ Во имя Отца и Сына и Святого Духа (лат.).

⁵⁵ В последнем польском заговоре были приняты системы троек и десятков. Каждый член заговора избирал себе двух товарищей и составлял с ними тройку. Избиравший составлял звено с тем лицом, которое самого его выбрало, и т. д. Таким образом тройка (в России) и десяток (в Польше и Западном крае) являлись вполне самостоятельными, изолированными и в то же время непрерывно связанными звеньями заговорной цепи. Член, принадлежащий к тройке, знал только лиц, входящих в ее состав; лица же других троек известны ему не были. Показания и сообщения передавались последовательно от избравших к избранным и т. д.

своей, эти псы богохульные, глумясь в гордыне безверия своего над Богом и над своею (хотя бы то и схизматической) верою, затеяли отслужить панихиду по убитым в Снежках. Сколько гнусного глумления, сколько франтовства своим неверием, достойных омерзительного презрения! Тем не менее они сделали из своей панихиды добрую демонстрацию, и весьма значительная часть здешнего общества этой демонстрации сочувствует. В этом, конечно, для нас есть весьма много полезного. Их можно презирать, но ими необходимо пользоваться, ибо ныне они – сила.

Симпатии к *угнетаемой* все более и более высказываются в здешнем обществе: работа наших не пропадает даром. Все высшее общество (правда, хотя и из глупого подражания) облеклось в жалобу: черный цвет является преобладающим в женских нарядах; на языке у многих слова сожаления, сочувствия к нам и слова порицания своего российского правительства.

Либералов и красных расплодится все более. Вредные до известной степени в родной среде поляков, красные в России являются нам полезным подспорьем.

К числу положительных приобретений надо отнести также и воскресную школу, находившуюся доселе в руках человека почтенного и честного, но, к сожалению, вредного своим противным и фанатическим направлением. Ныне, чрез вмешательство администрации, школа эта вверена благонадежному лицу из наших, которое само уже почти отстранилось от нее, а передало все дело в руки москалей из самых заклятых либералов. Работа с этим переходом пошла весьма успешно. Прежний же руководитель школы находится под надзором полиции. Один из преподавателей гимназии, а равно и воскресной школы, оказался человеком направления вредного; в то же время влияние его на учеников было достаточно сильно. Для пресечения вреда, могущего постоянно происходить от этого человека, авторитет его и, к сожалению, даже самое доброе имя необходимо должны были быть подорваны. Мера крайняя, но вполне необходимая, ввиду зла, имевшего парализовать многие добрые начинания.

Немалую силу (без сомнения, подлежащую борьбе) являет в лице своем здешний епархиальный архиерей Иосаф – оплот восточной схизмы, человек, пользующийся большим влиянием на паству. Есть некоторые признаки, по которым заключаю, что он может быть вреден. Впрочем, это покажет будущее.

Был спектакль любителей, на котором особенно ярко проявились симпатии к распятой на кресте отчизне нашей. Вскоре на имя известных вам особ будет прислана *do funduszu zelaznego* тысяча рублей. Наперед вышлем на себя расписки. О дальнейшем донесу своевременно, а пока смиренно прошу благословения на дело неустанного служения своего».

Подписи не было, но вместо нее выставлен зашифрованный знак «12—11», что в сущности означало «L—K», начальные буквы имени и фамилии ксендза-пробоща.

Не успел еще он, по окончании письма, выпить предобеденную рюмку настойки да закусить свежую молодую редискою со сливочным маслом, как в смежной комнате раздалось знакомое бряцание сабли полковника Пшецыньского, для которого ксендз-пробощ «всегда был дома».

– Век наш крутки – выпьемы вудки... А ну-бо! По килишку! – весело подмигнул хозяин только что вошедшему гостю.

Гость не отказался и не выпил, но, что называется, «вонзил» в себя полную рюмку, после чего вкусно поморщился, как обыкновенно морщится от доброго глотка хороший гость, желая сделать этим комплимент хозяйской водке, и в заключение очень выразительно крикнул.

Ксендз ухмыльнулся и подмигнул вторично.

– Век наш не длуги, выпьемы по другей! – пустил он свою обычную прибаутчку, – а потом возляжем за скромную монашескую трапезу!

От трапезы полковник отказался, но насчет недолгого века, по поводу которого надлежало выпить по другой, сказал по-русски, что умные речи приятно и слышать. И приятели хватили еще по килишку.

– Пан захал кстати, – пожал Кунцевич руку Пшецыньскому: – у меня тут только что цыдула окончена. Если хочеш прочесть – вот она.

Полковник взял еще не сложенное письмо.

– Что ж, надо отправить? – спросил он, как о деле давно привычном и самом обыкновенном.

– С надписом: «конфиденциально», – пояснил пан Ладислав, изображая сложенными пальцами одной руки на раскрытой ладони другой как бы предполагаемую надпись. – Только будь так ласков, брацишку, отправь поскорее... в казенном пакете, за печатью... жебы вшистка было як сенподоба.

– На бискупа или на полицмейстера? – осведомился полковник.

– Как сам знаеш, – пожал плечами ксендз. – Только думаю, что на полицмейстера натуральнее; а то что за корреспонденция у жандармов с бискупами! На полицмейстера спокойнее будет: его превелебна мосц писал уже, чтобы так поступать нам, уж они там знают!.. Им это лучше известно!

Полковник приятельским кивком вполне одобрил соображения своего предусмотрительного друга.

– А, кстати! – вспомнил Кунцевич. – Пан еще ничего не сделал с тем... с гимназистом?

– Да ведь пан каноник сам же просил оставить пока, я и не трогал его.

– Ну, и лучше!.. Он, сдается мне, пригодится еще к делу.

– Мм... молод! – с кислой гримасой заметил Пшецыньский.

– Э, ничего, что молод! Подвилянський аттестовал его подходящим. К чему терять лишние чужие руки? Пусть это будет на добро да на пользу.

Полковник взглянул к себе на часы и стал прощаться.

– Э, не, не! Почекай трошечку! – остановил его ксендз, наливая рюмки, – так не водится! Слухай, коханы: «Жебы быц нам спулне на тым свеце, выпиемы, брацишку, по тршецей!»

И, чокнувшись, они опрокинули и закусили по третьей – на прощанье.

XX Из-за «шпиона»

Андрей Павлович Устинов никак не ожидал тех последствий, которые произошли из его шпионства, импровизированного Подвилянским. Молва о тайной миссии учителя математики очень быстро разнеслась по всему Славнобубенску, что, впрочем, и немудрено, так как она весьма ловко была пущена в среду гимназистов, которым пояснено, будто Устинов потому-то и шикнул Шишкину, что сам он шпион и что он-то, собственно, и погубил Шишкина своим шиканьем. Гимназисты разнесли молву по своим семействам, а те по своим знакомым, и, глядь, суток через двое весь Славнобубенск был уже убежден, что в среде его ходит, подглядывает и подслушивает весьма опасный агент тайной полиции – учитель Устинов. Очень многие стали чуждаться Андрея Павловича. Входит он, например, в сборную учительскую комнату, некоторые из сослуживцев многозначительно переглядываются между собою и прекращают разговоры. Поклоны их стали гораздо суше; иные избегали протягивать ему руку. Проходя из класса по гимназическому коридору, он встретил гурьбу учеников, которая, пропустив его мимо себя, вдруг единодушно зашишикала, и среди этого шума раздалось несколько голосов: «шпион! шпион! Устинов шпион!» Тот обернулся, обвел гурьбу изумленным взглядом и, улыбнувшись, прошел мимо.

В кухмистерской, на Московской улице, точно так же при входе его весьма многие из присутствующих, знавших его в лицо, прерывали некоторые из своих разговоров, переглядывались и перешептывались между собою и окидывали его иногда каким-то осторожным, неприязненным взором. При встречах на улице очень многие из знакомых делали вид, будто не замечают его, и на поклон отвечали словно бы нехотя, вскользь, торопливо и с видимым смущением.

Вскоре и сам он заметил, что положение его становится каким-то глупым, неловким, неестественно-натянутым, и это стало то бесить, то сильно огорчать его. Но более всего горькою и обидною была потеря доверия и привязанности учеников. Взаимные отношения их, помимо его воли, как-то сами собою переменились; в них явилась холодность, неприязнь и даже школьнически-своеобразное презрение к нему, выражавшееся каким-нибудь безмолвным взглядом, свистом или возгласом «шпион», брошенным ему за спиною, и положительным отсутствием весело-доверчивых разговоров и расспросов, как бывало прежде.

Устинов сознавал, что все это было слишком мелко и чересчур уже глупо для того, чтоб обратить на подобные проявления серьезное внимание, а между тем новое положение втайне начинало уже очень больно и горько хватать и грызть его за сердце.

Кажется, во всем городе Славнобубенске только и осталось три-четыре человека, отношения которых ни на йоту не изменились к Андрею Павловичу, и это были: Хвалынцев, майор Лубянский да Татьяна Николаевна со своею старою теткою. Все остальное разом отшатнулось от учителя.

Раз как-то зашел он к майору. Анна Петровна, встретив его весьма сухим поклоном, тотчас же удалилась из комнаты. Зато майор обрадовался от чистого сердца.

– Ну, голубчик мой! Наконец-то! – протянул он ему обе руки. – Пойдем в мою келью, потолкуем-ка!.. Хоть душу отведешь с человеком!

Устинов глянул на старика и заметил, что он видимо изменился за последнее время: сивая щетинка на бороде уже несколько дней не брита, чего прежде никогда не случалось, лицо слегка осунулось и похирело, в глазах порою на мгновение мелькало легкою тенью нечто похожее на глухую затаенную кручину. При взгляде на Петра Петровича Устинову стало еще грустнее.

– Ну, что, как живете-можете? – начал он, лишь бы отогнать немного свое тягостное чувство.

– Да что, голубчик, скверно старикам стало жить на свете, скверно! – с глубоким, сокрушенным вздохом покачал головой Лубянский. – Прежде людьми пренебрегали за какое качество дурное, за порок какой там, что ли, а ныне за одну только старость пренебрегать начали. Иль я уж и в самом деле из ума выжил, или что, и сам не понимаю; а только вдруг, на шестом десятке, под сюркуп полицейский попал! Чуть что не каждый день вдруг квартальный стал шататься да житье-бытье мое поверять! «Вы, говорит, за неблагонамеренность под призор отданы, и я должен за поведением вашим наблюдать!» Легко ли это, я вас спрашиваю!.. Издеваются они надо мной, что ли? Да кто же дал им ныне это право такое над честным солдатом издеваться?.. До чего дожили, прости, Господи! Уж я этому квартальному, чтобы не часто шатался, грешный человек, дал по секрету трешницу. Школу отняли, самого оплевали... А слышали вы, батенька, что со школой-то сталося? Слыхали? Вы не бываете там больше?

– Мне Подвиляньский прислал письмо, с извещением, что я могу прекратить мои дальнейшие занятия там, – сказал Устинов.

– Я так и знал! Так и знал я это! – махнул старик. – А с отцом-то Сидором что сделали? Не слышали-с?

– Признаюсь, не слыхал еще.

– Ну, уж это чистое невежество! – развел майор руками. – Приходит он это в школу, а навстречу ему господин Полояров: «Вы, говорит, зачем сюда?» – «Как зачем! Я закон Божий читаю». – «Теперь, говорит, я вместо вас закон Божий читаю, а вы, говорит, ступайте прихожан своих эксплуатируйте (так и сказал! Это самое слово!). Все вы, говорит, за зловерность направления отсюда уволены!» Это что ж такая за наглость-то наконец, я вас спрашиваю! До чего же это дойдет у них?! Отец Сидор хочет владыке жаловаться, – да и в самом деле, ведь уж тут просто житья нет никакого! Нагнал это туда новый-то распорядитель учителей хороших: все эти Полояровы, да Анцыфровы, да Лидиньки разные... поди-ка, чай, хорошему научат!.. Уж они мне, батюшка, – вот они все где сидят-то мне! – указал старик на свое горло. – Ведь уж я терпелив, ну да и мое терпение лопнет скоро!

– Полояров-то бывает у вас? – спросил Устинов.

– Уж не говорите лучше! – с негодованием отплюнул Петр Петрович, – не знаю, как избавиться! И что это такое с Нюточкой сделалось, просто не понимаю! Не далее как год назад ведь это прелесть что за девочка была – сами, чай, помните! – а ныне (старик с боязливою осторожностью покосился на дверь и значительно понизил голос), ныне – Бог ее знает! какая-то нервная, раздражительная стала. Строптивость у нее какая-то вдруг... Что ни скажешь, ни сделаешь – все это не так, все это не по ней... одного только *этого... его-то* – только его и слушает. Начнешь говорить ей, – сейчас в раздражение: «вы, говорит, меня стесняете, лишаете меня свободы!» Ты ей резоны представляешь, а она сейчас: – «произвол! насилие!.. Это, говорит, деспотизм родительской власти»... Господи боже мой! Андрей Павлыч! (голос старика дрогнул от волнения) сами вы знаете – ну, стесняю ли я чем ее? Ну, могу ли я стеснять? Я... я души в ней не чаю, а она... деспот... деспотизм. Да что ж это такое, ей-Богу!..

Старик примолк и огорченно поник головою.

– Теперь хоть это: хорошо ли это с ее стороны? – продолжал он через минуту. – Отца осрамили, отцу учить запретили, под надзор полиции отдали, школу отняли, а она в этой школе продолжает учить как ни в чем не бывало. *С этими-то... с этими-то* вместе учит, в одной компании... с врагами!.. Ведь они враги-с делу-то! Ну, прилично ли это? Отчего же Татьяна Николаевна сразу перестала, сама перестала, чуть только проведала про всю эту компанию?.. И я же еще стесняю ее! Я деспотствую!.. Эх, голубчик мой, горько мне все это! горько!.. И откуда на нас вся эта напасть? – продолжал старик, ходючи по комнате и

закурив свою коротенькую трубочку. – Отчего же прежде у нас на Руси ничего такого не было? Иль уж и в самом деле все мы прежде до такой степени были глупы, и слепы, и подлы, что на нас теперь и плюнуть не стоит порядочному человеку, или что – я уже и не понимаю. Думаешь-думаешь так-то вот себе ночью (нынче ночами-то что-то плохо спится мне). Только нет, думаешь себе, отчего же подлы? Отчего же глупы да пошлы? ведь и между нами были же и умные, и честные, и образованные люди – да вот хоть взять теперь нам старика Алексея Петровича Ермолова или, например, покойник Воронцов Михайло Семенович, – ведь это все какие люди-то! справедливые, твердые, самостоятельность-то какая! Ну, значит, были же и между нами доблестные граждане; умели же и мы любить свое отечество и жили честно – не все же глупцы, да воры, да взяточники! За что же теперь-то все мы огулом охаяны да оплеваны? Ведь это обидно! Ведь и сами же *они* будут стариками – значит, и их заплуют? Да отчего же мы-то на своих отцов не плевали, отчего же мы любили и чтили заслуги их?.. Отчего ж это так вдруг все перевернулось у нас? Откуда это, я вас спрашиваю? И вот все это, голубчик мой, мучают меня все эти неотвязные мысли проклятые, и никакого я себе ответа найти не могу!.. Эхе-хе! тяжело стало старикам на свете! – грустно заключил он, выколачивая в черепок золу из своей носогрейки.

Потолковал он и еще кое-что на ту же самую тему, а потом, чтобы разбить несколько свои невеселые мысли, предложил учителю партийку в шашки. Сыграли они одну, и другую, и третью, а там старая кухарка Максимовна принесла им на подносе два стакана чаю, да сливок молочник, да лоток с ломтями белого хлеба. Был седьмой час в начале.

– А где же барышня-то? Что ее не видать? – спросил старик у кухарки.

– Барышни нетути. Аны еще давеча, как Андрей Павлыч пришли тольки, так ушли из дому.

– Куда же это? Не сказала?

– Ничего не сказывали; а только вышли одемшись и пошли.

– Ну, хорошо... Ладно; ступай себе!

– Вот, батюшка мой, – обратился майор к Устинову, когда кухарка вышла за дверь, – это вот тоже новости последнего времени. Прежде, бывало, идет куда, так непременно хоть скажется, а нынче – вздумала себе – хват! оделась и шмыг за ворота! Случись что в доме, храни Бог, так куда и послать-то за ней, не знаешь. И я же вот еще свободы ее при этом лишаю!

Устинов посидел еще с полчаса и простился.

Вскоре после него вернулась домой Анна Петровна. На хмуром личике ее написано было молодое нетерпение поспешной решимости. Снимая перед зеркалом свою гарибальдийку и приглаживая короткие волосы, она даже ножкой досадливо топала. Видно было, что ей поскорее хочется решить что-то на *да* или *нет* и что на этот последний лад она кем-то настроена.

– Где была, Нюточка? – ласково и тихо обратился к ней Лубянский.

– Где была, там уж нету! – отвечала она с усмешкой. – А ты вот что, папахен... Мне с тобой надо поговорить серьезно и... решительно. Угодно тебе меня выслушать?

– Говори, дружочек... – еще тише промолвил старик, у которого вдруг упало сердце от этого тона речи. Он смутно предчувствовал что-то недоброе.

– Извольте-с. Я буду говорить, – начала она, с какой-то особенною решимостью ставши пред отцом и скрестив на груди руки. – Скажи мне, пожалуйста, папахен, для чего ты принимаешь к себе в дом шпионов?

– Шпионов?.. Каких это шпионов? – поднял на нее глаза Лубянский.

Из этого вопроса он уже понял, о чем пойдет дело.

– Как каких? Как будто Полояров не при тебе говорил?

– Э, девочка! Мало ли что говорит Полояров...

– Но это все говорят!.. Весь город знает.

– Ну, мало ли что!.. Собака лает, ветер носит – слышала, чай, половицу? У нас ведь чего не болтают!

– Но это не болтовня, это правда! Намедни у самого Пшецыньского спрашивали, так он только как-то странно улыбнулся на это и стал уверять, что вздор и выдумки. Одно уж это уверение достаточно подтверждает факт.

– Ну, Нюта, полно пустяки болтать!.. Ни в жизнь я таким вздорам не поверю и даже слушать-то про них не хочу.

– Ха-ха-ха!.. Это мило! Это мне нравится! – нервно потирая руки, зашагала она по комнате. – Ну, так я же тебе говорю, что я не желаю, не хочу – слышишь ли, папахен? – не хочу, чтоб у нас в доме бывал этот шпионишка! После этого к нам ни один порядочный человек и носу не покажет. Мне уж и то говорят все!..

– Кто говорит-то? какой-нибудь Полояров...

– Во-первых, – перебила девушка с ярко проступившею на щеках краской досады, – во-первых, Полояров вовсе не «какой-нибудь», а порядочный человек, которого я уважаю, и потому покорнейше прошу о нем так не говорить!

– Да ты сама-то, Нюта, как говоришь со мной, с отцом-то своим? Что ж, тебе Полояров ближе отца стал, что ли?

– Это вопрос совсем посторонний; и замечаний мне тоже не надо, а я тебя спрашиваю в последний раз: угодно тебе быть знакомым со шпионами?

– Я Андрея Павлыча за шпиона не почитаю и почитать не буду, – решительно и твердо ответил он на это, – и знакомства с ним от каких-нибудь нелепых сплетен не прерву. Вот тебе, Нюта, мое слово!

– Покорнейше благодарю! – иронически поклонилась она. – Я и не знала, что тебе этот барин дороже дочери и собственного доброго имени.

– Матушка! – покачал головой майор, – не Анцыфровым каким-нибудь дарить меня добрым именем, я его сам себе добыл; и не им его вырывать от меня! А о себе ты и не говори... Нюта, Нюточка! да неужто же ты не видишь, голубка моя, как люблю я тебя! – с глубокою нежностью протянул он к ней руки.

– Скажите, пожалуйста! Да в чем это любовь-то ваша? – с пренебрежением выдвинула она свои губки. – Велика заслуга – любовь! Каждое животное, собака – и та любит щенят своих: просто, животнo-эгоистическое чувство и больше ничего! Это очень естественно!

Старик в каком-то ужасе поднялся с места.

– Нюта, Нюта! – горько покачал он головою. – И это ты!.. это ты говоришь такие вещи!.. Да кто это вселил в тебя мысли-то такие?.. Боже мой! Родительское чувство... отца вдруг с собакой... со псом приравняла!.. Да что ж это, ей-Богу!.. Нюта, это не ты говоришь... это чудится мне только!.. Нюта! родная моя!.. Поди ко мне.

– Оставь, пожалуйста, нежности, папахен! – мимоходом махнула она рукой. – Я тебе повторяю, если хочешь жить со мной в мире, то чтобы в доме у нас не было больше Устинова, а если он еще раз придет, то я наделаю ему таких дерзостей, каких он еще ни от кого не кушал.

– Ну, уж нет! Этого не будет! – опять-таки решительным тоном возразил Петр Петрович. – Гостя, каков бы он ни был, в моем доме оскорблять не позволю, потому что он гость мой.

– Ха-ха-ха! Это у тебя все твои эти кавказские, восточные правила! – насмешливо проговорила она; – да если этот гость шпионишка, подлец, мерзавец?

– Сударыня! да постыдись ты, Христа ради! – укорливо всплеснул старик руками, – ведь ты благородная девушка! Ну, что ты девичьи уста свои оскверняешь такими гнусными

словами! Откуда все это? И что это за тон-то у тебя нынче? Где ж твоя скромность, голубка ты моя?!

– Мне это наконец надоело! – топнула она ножкой, снова скрещивая руки и становясь перед отцом, – я хочу знать решительно: будут ли у нас бывать шпионы или не будут?

– Шпионов не бывало и бывать не будет, – категорически ответил старик, поднявшись с места, – а Андрей Павлыч будет! И пока я жив, я никому не позволю оскорбить его в моем доме, и никто этого не осмелится!

– А, когда так, – так хорошо же! – взвизгнула Анна Петровна, заливаясь гневными слезами. – Это деспотизм... это насилие... это самодурство, наконец!.. Этого я выносить не стану!.. я не в силах больше!.. Терпение мое лопнуло, так и я не хочу, не хочу, не хочу больше! – возвышала она голос. – Слышите ли, не хочу, говорю я вам!.. После этого между нами все кончено! Прощайте, Петр Петрович!

И стремительно вырвавшись из комнаты, она мимоходом захватила гарибальдийку да бедуин, перекинутый через спинку стула, и бросилась вон из дому.

– Нюта! Нюточка! голубчик!.. Куда ты!.. вернись! вернись, Христа ради! – вдруг переполошившись, схватился старик вдогонку за дочерью. Словно ошалелый, выбежал он за калитку и, как был в одном халате, без шапки побежал по улице.

Нюточка спешно обернулась на его голос и, видя, что он ее, пожалуй, догонит, сама торопливо пустилась бежать от него, махая встречному извозчику, и, поравнявшись с его дрожками, с разбегу прыгнула в них.

– Пошел!.. Пошел живее! Поворачивай! – чуть не задыхаясь, толкала она своего возницу – и тот, в надежде на хорошую выручку, со всеусердием стал хлестать свою лошадь.

В эту минуту молодая девушка вся была в какой-то исступленно-нервной экзальтации. Ее душил прилив злостной досады избалованного, капризного ребенка; слезы ручьями катились по щекам; лихорадочная дрожь колотила все тело. Она сама не помнила и не понимала хорошенько, что с нею и что она делает.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.